

Николай Александрович Благовещенский

Среди богомольцев

В своём произведении Благовещенский описывает жизнь монахов на «Афоне» весьма однобоко, касаясь в основном бытовой стороны жизни и трудностей с которыми они сталкиваются в своём делании. В его записках нет той лёгкости и благоговения, которой есть у Бориса Зайцева в его описание «Афона». У Благовещенского отсутствует романтический настрой, произведение не предназначено для тех читателей, которые искренне верят, что в афонских монастырях на литургии «летают ангелы». Но при всём при этом, книга помогает увидеть быт монахов, их суждение и оценку жизни, убирает ложный ореол романтики связанный с монашеским деланьем.

Надо понимать, что сейчас многое изменилось на Афоне, и в части устройства монастырей, быта, питание. Всё что он описал относиться к его времени, а не к нашему.

Содержание

БИОГРАФИЯ	0004
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	0008
I. Первые впечатления Афона.	0013
II. МОНАСТЫРИ ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЕ (КИНОВИИ)	0030
III. ГЛАВНѢЙШІЯ ПОБУЖДЕНІЯ КЪ МОНАШЕСТВУ	0053
IV. Испышания.	0074
V Пустышники	0100
VI ОБРАЗЦЫ МЕСТНОГО ПОДВИЖНИЧЕСТВА.	0124
VII Монастыри штатные (идиоритмы).	0149
VIII ПРОМЫСЛЫ И ТОРГОВЛЯ.	0170
IX Состояние наук на Афоне.	0187
X . Искусства	0205
XI. Болешны и врачебная часть.	0221
XII. Правление Афона.	0241
XIII . Политика.	0257
XIV. Средства к жизни.	0278
XV . Поклонники Афона.	0303
Эпипог.	0326

**Николай Александрович
Благовещенский**

Среди богомольцев

БИОГРАФИЯ

Благовещенский, Николай Александрович (19 апреля 1837, Москва – 20 июля 1889, Владикавказ) – русский писатель, журналист.

Сын священника. Окончил Александро-Невское духовное училище и Петербургскую духовную семинарию, где был младшим товарищем Н. Г. Помяловского. После смерти Помяловского занимался сохранением его наследия, оставил о нём биографический очерк, публикуемый в большинстве собраний сочинений. Николай Александрович отличался феноменальной памятью и большими способностями к языкам.

После окончания семинарии Благовещенский, как человек, знающий восточные языки, а также новогреческий и умеющий рисовать, был прикомандирован к архимандриту Порфирию, известному археологу и востоковеду, и отправился с ним на Афон и в Иерусалим в научную экспедицию, где пробыл почти два года (1858 – 1859), запечатлевая опыт

путешественника в путевых заметках и рисунках. В течение двух лет Благовещенский сделал до 400 зарисовок, близко узнал быт монастырей и получил много впечатлений, способствовавших перевороту в его мировоззрении и сделавших его атеистом.

В 1860 возвратившись в Петербург, он посещает университет в качестве вольнослушателя и преподает в воскресной школе.

Первыми напечатанными произведениями Благовещенского стали рассказы, написанные по следам этого путешествия («Из воспоминаний бывалого в Иерусалиме», «В Фессалии», «Ноябрь»). По возвращении в Россию он с 1862 года сотрудничает в журнале братьев Достоевских «Время».

В 1863 Николай Александрович по приглашению Г. Е. Благосветлова становится постоянным сотрудником «Русского слова».

С 1864 – 1866, в период расцвета этого журнала, вместе с Благосветловым является его

редактором и издателем.

В 1863 в «Русском слове» печатаются очерки «Афон», вышедшие в 1864 отдельной книгой, развенчивает традиционное представление об Афоне как «убежище ангелов». Книга Благовещенского, создавшая автору известность в 60-е и последующие годы, была встречена нападками со стороны печати и церкви, вскоре была запрещена.

В 1871 выходит книга очерков «Среди богомольцев», в которую вошел и «Афон».

После закрытия «Русского слова», Николай Александрович редактирует вместе с А. К. Шеллером-Михайловым «Женский вестник».

С 1868 сотрудничает в «Неделе», затем в «Отечественных записках». В этот период писатель начинает тяготеть к либерализму.

В начале 70-х гг. в «Отечественных записках» появляется ряд его очерков о жизни рабочих, об условиях их труда

В 1872 Благовещенский Н. А. в связи с тяжёлой болезнью, которая проявилась в 1869 году (паралич) переселяется на Кавказ.

В 1875 получает место секретаря Терского статистического комитета.

В последний период жизни он в основном занят трудами, посвященными изучению Терского края: составляет «Список населённых мест Терской области», редактирует «Сборник статистических сведений по Терской области», «Статистические монографии по исследованию станичного быта», описание местных кустарных промыслов.

Благовещенский Николай Александрович вошёл в литературу как представитель массовой демократической беллетристики 60-х гг. Художественное значение его повестей невелико, наибольшую известность он приобрёл как автор очерков «Афон».

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Есть на белом свете дивный уголок земли, на котором, с давних пор, упрочилось мёртвое для мира царство монашеское, царство оригинальное, самобытное... Имя ему Афон.

Не велик этот уголок: всего каких-нибудь полтора верст в окружности: зато на этом крошечном пространстве раскинуто более двух тысячью церквей и при них до семи тысячью отшельников, следовательно, более, чем во всей России. Зато на этот уголок, с благоговением и любовью, смотрит весь восток православный; а греки, даже гордятся им и воспевают его в своих песнях.

Но мы не имеем почти никаких сведений об Афоне. С жизнью афонских отшельников впервые познакомил нас Святогорец Сергей, и его поэтические письма с любопытством прочла читающая Русь. В этих письмах, сквозь мистическую оболочку, порой проглядывает правда, только эта правда так замаскирована, что её не узнает читатель, незнакомый с тайнами афонских обителей. Святого-

рец, как член этого царства, не мог и не смел писать беспристрастно. Он до того пересолил свою книгу разными мудренными чудесами, что даже наша духовная цензура сочла нужным сделать ему маленькое внушение, вследствие чего, при втором издании, книга явилась уже в сокращенном виде и с меньшим количеством чудес. Кроме Святогорца писали ещё об Афоне: инок Парфений, Мелетий, гг. Муравьев, Давыдов и Каменский. Г. Давыдов сперва хотел было обругать афонских монахов и назвал их «сумасшедшими», но потом раскаялся, о чем трогательно рассказывает Святогорец [1]. Остальные книги сплошда-рядом пропитаны тем казённым умилением, с каким принято писать наши путешествия по святым местам, и новых сведений об Афоне они не дали.

Слышит об Афоне кое-что и простолудин наш, но здесь уже трубит о нем живое слово. Это те пресловутые странники афонские и сборщики доброхотных подаяний, которые разгуливают по всем закоулкам нашего православного мира с разными душеспасительными вещицами, и нередко, под видом рели-

гиозного авторитета, морочат простых и доверчивых людей. Говорят они многое: о подвигах братии афонской, и «жребии царицы небесной», об искушениях демонских, и, пересыпая всё это длинными повестями чудесного свойства, горько жалуются на нищету и убожество афонских обителей. Слушает мужик эти речи; глядит он тупо на лубочные картины Афона, в виде сахарной головы с крестами, и смутно верится ему, что на Афоне взаправду есть что-то необыкновенное, непохожее на нашу жизнь. Да и не одни мужики слушают этих выходцев афонских, им верят иногда и так называемые образованные люди. Есть у нас барыни особого закала, постоянно окруженные ханжами и юродивыми, одетые в черные платья, с четками на руках, по-видимому, кроткие и смиренные, хотя к ним вполне применяется пословица: в тихом омуте много чертей водится. Эти барыни особенно любят странников и выходцев афонских и с особенным благоговением слушают их медоточивые рассказы; – и, боже мой, чего только не наговорят они этим барыням! А те в восторге выдавливают из себя остатки уми-

ление и щедро осыпают мнимых подвижников без труда добытыми деньгами...

Все эти слухи и толки сводятся к тому только, что Афон – тихое пристанище иноков, место успокоение грешников, где обитают не люди, а ангелы, и притом несчастные ангелы, угнетенные земным правительством, и без всяких средств к пропитанию. Этим кончаются наши сведения о св. горе.

А между тем на Афоне, кроме чудес и нищенства, интересного очень много. Не говоря о том, что Афон представляет собою правильно организованное государство, имеющее свои законы, свою промышленность, свой флот, суд и расправу, оригинальное уже потому, что оно около пятисот лет существует без женщин, – там встречаются характеры интересные для психолога, начиная с фактов глубокого, почти идеального аскетизма, и кончая фактами грубого лицемерия и даже зверства, прикрываемого именем религии...

Мне пришлось прожить на горе Афонской 17 месяцев (1858 – 1859 г.) и объехать большую часть тамошних монастырей, скитов и келий. В течение этих долгих месяцев, един-

ственными собеседниками моими были отшельники афонские. В часы, свободные от занятий, я по неволе вглядывался в их жизнь и нравы, и узнал многое, чего не могли заметить другие туристы при беглом обзоре Афона. Я тогда же записал многое, и эти записки послужили материалом для настоящей статьи.

Я не буду здесь касаться ни истории, ни палеографии Афона. Мне хотелось только представить на суд читателей ряд своих путевых воспоминаний, и в них, по мере возможности, изобразить быт современного нам афонского монашества, с его религией, суеверием, искусствами, промыслами и даже чудесами.

I. Первые впечатления Афона.

Переход из мира в царство монашеское. – Монастырь Есфигмен и его устройство. – Местные нравы и обычаи. – Беседа с русским отшельником. – Всенощное бдение. – Несколько слов о греческом пении.

В окрестностях Афона [2], на несколько десятков верст кругом, рассыпаны дачи и подворья монастырские, и между народом, в городах и селах, шныряют обитатели афонского царства, как муравьи около своей кучи. Но там ещё мир, там кипит деятельность человеческая, слышится весёлый говор, задушевный смех и песни народные. Там самое монашество не сохраняет строгого стиля афонского и носит заметный мирской отпечаток. Чем ближе к Афону, тем заметнее его влияние на дела мирские: чаще встречаются монахи, сильнее развито суеверие в простом народе. Последняя грань, где ещё легко дышит семейное че-

ловечество (на пути от Солуня), это небольшой городок Ериссо, в 25 верстах от ближайшего к миру афонского монастыря Есфигмена.

Помню я тот грустный вечер, когда мы покинули Ериссо и впервые увидели пустыни афонские. Была суббота, полевые работы кончились; крестьяне и крестьянки бродили по городу веселыми группами. Чувался праздник гадали девушки о завтрашнем дне, переглядываясь с молодыми паликарами; где-то играли на свирели... А нам, в это время, два монаха с подворья навьючивали мулов, снаряжали в путь-дорогу на гору Афонскую. К вечеру мы тронулись, сопровождаемые толпою любопытных, при лае собак со всего окологда. Крестьяне просили нас молиться крепче и привозить им благодати. Мы обещались.

И вот едем по берегу моря. Море плещется весело, птицы реют в воздухе, а что-то невесело на сердце. Прежде, когда Афон был ещё далеко от нас, меня влекло к нему любопытство, а теперь и любопытство куда-то подевалось: жалко стало покидать мир божий...

Плещется море. Но жизнь уже замирает:

тише становится в воздухе, местность безлюднее. Начинается крутой подъем на первые отроги афонского хребта. Здесь стоит таможенная будка. Из этой будки высунулся сонный сборщик и лениво обругал нашего проводника. Тот бросил ему несколько мелких монет и двери таможни захлопнулись. Едем дальше, выше, дорога так крута, что мулы наши едва поднимаются. Моря уже неслышно; кругом ни души... И вот стоит большой деревянный крест, исписанный начальными буквами крестной молитвы. Это граница Афона и мира, сюда уже не переступают веселье и радости жизни земной.

Едем дальше. Жизнь замерла. Кругом ни звука, ни движенья. Деревья стоят неподвижно, точно на картине. Здесь уже не мир, а царство отшельников; а сердце так и ноет, голова кружится, хочется верить во что-то таинственное.

– Скоро и монастырь увидим, – проговорил громко проводник наш; я вздрогнул: так страшно было слышать человеческий голос среди этой пустыни. Проводник прикрикнул на мулов и затянул какую-то песню; но не вы-

ходила песня, не так пелась она, как на родине. Видно было, что проводник сам хотел развеяться: тоже забрала тоска. И всех, говорят, забирает она при этом переходе из мира в царство монашеское.

Но вот кончается этот пустынный переход, и местность начинает понемногу оживать. Встретились два старика-монаха с котомками и низко поклонились нам, примолвив: «благословите!» вместо: «здравствуйте!» Пасется стадо мулов с огромными звонками, но как пасется: стоят мулы, как статуи, понутив головы и только машинально обмахиваются хвостами; им тоже скучно. На горе, из-за кустов, выглянули местами белые домики в одиночку, показались виноградники и огороды... Легче стало: какая ни на есть, а все-таки жизнь видна.

– Вот Есфигмен, глядите! сказал проводник.

Я с любопытством вглядывался в массу открывшихся предо мною зданий. Веря толкам наших странников о бедности монастырей афонских, я думал увидеть какие-нибудь жалкие развалины, но увидел нечто другое. То

был целый город, или лучше, приморская крепость с зубчатыми стенами и башнями, с целой группой церквей и разных пристроек. Местность роскошная. Море хлещет в самые стены обители. Тут же, у небольшой пристани, качается судно, а на судне чёрный Флаг с белым крестом: Флаг афонского флота.

У ворот монастырских стоит привратник, в рыжем подряснике, кацавейке дырявой и рыжей, валенной камилавке, и внимательно вяжет чулок. Молча и угрюмо оглядел он нас, когда мы въезжали в ворота. На дворе опять ни души, будто вымерло все; только на ступени церковной сидит кот, – сухой, поджарый, афонский кот... Он тоже молча и угрюмо оглядел нас.

– Где же братия? спросили мы привратника.

– Спят, отвечал он: – сегодня бдение будет.

Он лениво ударил в колокол. Немного спустя из верхнего коридора выглянул монах и, заметив нас, проворно спустился на двор. То был «архондаричный», который обязан встречать поклонников и знакомить их с местной святыней. Он отпер церковь и пригласил нас

войти, потом, с тем же проворством поставил среди церкви скамью и начал раскладывать на неё серебряные ящики с мощами. Тут же, между ящиками, поставил он серебряную тарелочку, но без мощей. Приложились мы к мощам, выложили на тарелочку наше золото и удалились. Монах следовал за нами весьма довольный.

– Пожалуйте к игумену! сказал он.

– А он не спит?

– Нет, уж проснулся. Сейчас будет вечерня.

Мы пошли за монахом, и он привел нас в келью игумена. Старик игумен, довольно полный, с маслянистым, сытным лицом принял нас очень приветливо и угостил водкой и кофеем. Узнав, что мы русские, он принялся расхваливать щедрость русскую; рассказал нам, с каким почетом принимали его в Москве, когда он ездил за сбором подаяний, и радовался, что на Руси сильна ещё вера православная. Мы, конечно, слушали и умилялись. Наши речи прервали два монаха в мантиях и схимах. Они вошли в келью и, не говоря ни слова, повалились в ноги игумену. Тот небрежно протянул им руку, монаха поцеловали ее, потом

поклонились ещё раз до земли и вышли.

– Что это значит? спросил я с недоумением.

– А это отцы просят моего благословение начать вечерню, ответил игумен.

– И это бывает каждый раз?

– Конечно; без благословение нельзя: здесь ведь Афон, а не Москва. Вот вы поживите-ка с нами подольше, ещё не то увидите!

Игумен улыбнулся какой-то загадочной улыбкой.

– Мне тоже надо к вечерне идти, продолжал он вставая. Вы пока отдохните с дороги, а потом ужинать будем.

Игумен захлопал в ладоши и приказал вошедшему монаху развести нас по квартирам.

Мне досталась довольно большая затхлая комната, с цветными стеклами в окнах, с мягкими циновками на полу, но запущенная, оплеванная и немытая давным давно. Низкие диваны (на четверть от полу) окаймляли ее вокруг; на стене висела большая, потемневшая икона и разные божественные картины афонского изделия; у противоположной стены камин с огромным закоптелым жерлом.

Больше мебели никакой не было. Я вынул было папироску, но вожатый объявил мне, что здесь киновия [3], следовательно курить запрещено, и просил подвинуться к камину. Надо было повиноваться. Затем я думал было прилечь отдохнуть, но оказалось, что и это невозможно. Лишь только я прикоснулся к дивану как, меня осыпали целые мириады прыгающих насекомых, как видно, давно поджидавших жертвы. Пересел на другое место, — та же история. Оставалось одно утешение: ходить по келье и бранить неряшество афонское.

За стеною слышно было церковное пение и сдержанное чтение канона. Там кто-то молился.

Вот и в мою келью вошел монах в мантии, с ручной кадильницей (каца). Нашептывая какие-то молитвы, он трижды окадил икону, потом окадил меня и вышел, наполнив запахом ладана моё незавидное помещение. Я остался в полном недоумении насчет этого обряда. А дело было в том, что рядом с моею кельею, в комнатной церкви монахи служили вечерню, и им хотелось сделать меня

участником своей службы.

– «Молитвами св. отец наших, Боже помилуй нас!» – Слышится за дверью. Я молчу. Молитва повторяется громче. Мне бы следовало ответить «аминь», но я не знал ещё этих условий монастырского этикета и опять промолчал. Тогда в щели двери показалась седая борода монаха, и заблестел чёрный глаз, устремленный на меня.

– Чего вам? – спросил я.

– Благословите войти! – сказал старик по-русски. – Войдите.

Монах сбросил башмаки [4] и, поклонившись мне, смиренно сел на диване. Я снова почувствовал запах ладана, которым была пропитана одежда старика.

– Прослышал я, что земляк, и пришел... заговорил он, не поднимая на меня глаз.

– Очень рад. А вы откуда?

– С Нижняго.

– А давно с родины?

– Давно. Скоро тридцать лет будет.

– И всё здесь?

– Всё в Симене (Есфигмене) с греками. Бог помогает: привык.

Я с любопытством осмотрел монаха, тридцать лет не видавшего мира. Он сидел, по-прежнему, опустив глаза, и перебирал нитяные чётки.

– Как же вы попали сюда, к грекам? опять спросил я.

– Да вот, был сперва в турецкой компании в 29 году, и попался в плен туркам. Года два они таскали меня по разным тюрьмам; а потом дали, значит, свободу. Едучи домой захотелось мне помолиться св. угодникам афонским, дай, думаю, заеду по пути, помолюсь на радости. Ну, заехал сперва в Симен, да тут и остался совсем: больно приглянулось мне ангельское житие. И вот с той поры всё живу здесь, даже других монастырей не пришлось видеть.

– И не тяжело вам было?

– Известное дело тосковал, особенно сначала, а потом ничего: пересилился.

Монах замолчал и утер глаза, из которых постоянно сочились слёзы.

– Скажи-ка мне, что на Руси поделывается? спросил он, взглянув на меня исподлобья.

– Ничего, живёт себе помаленьку.

– Слышно, что волю дать хотят?

– Да, хотят. Скоро крепостных не будет в России.

Старик трижды перекрестился и прошептал: «слава Богу!»

– Ну, а ты останешься здесь, или на время только?

– На время. Мне нельзя остаться.

– Отчего же? Погибать что ли охота!

– Нет, мне ещё работать надо.

– Никакая работа не даст тебе столько пользы, как здешняя: помяни ты моё слово! Та накормит только, а эта в рай поведёт.

– Да у меня родные есть; с ними-то как же быть?

– Бог научит, как быть. Вот и у меня семья была, да я не посмотрел на это, – постригся. После здешние старцы письмо послали туда, что помер, тем и покончили сразу. Даже денег прислали на помин души. Вишь как умудряет Господь.

– Все это так, да жить у вас слишком трудно

– А ты думаешь, что ли без труда спастись? Не спасешься, брат. Ты вот лучше понадейся

на владычицу нашу, так она поможет тебе все искушение пройти невредимо.

– Какие это искушения?

– А вот поступай: узнаешь?

Вошедший послушник объявил, что ужин готов, и тем прекратил наш разговор. Старик поклонился мне и торопливо вышел. Я отправился за послушником в келью игуменскую, где ожидал нас ужин, накрытый на столе, тоже на четверть от полу. Пред каждым прибором стоял небольшой графин красного вина. Мы уселись на полу вокруг стола; один из присутствующих вслух прочел молитву и затем уже стали подавать кушанья из разных вареных и жареных в масле трав. В заключение, вместо десерта, подали зеленые огурцы. Мы сначала смеялись над этим, а потом, поездив по Афону, и сами ждали огурцов, как лакомства.

После ужина нам дали ещё по стакану вина, и поднесли умыться. Затем монахи, прислуживавшие за столом, поклонились в ноги игумену, поцеловали его руку, и стали убирать со стола. Я подсел к окну, а сверху наблюдал, что подделывалось на дворе мона-

стырском. А там по обыкновению не было ни души: иноки ужинали и громко по всему двору, раздавалось чтение трапезного поучения. Но вот, трапеза кончилась. Четыре монаха вышли оттуда и пали ниц у самых дверей, остальные проходили мимо, молча кланяясь лежащим. То были трапезарь, чтец и повар, просившие прощение у братии, в случае, если она недовольна их трудами. Четвертый нечаянно сломал деревянную ложку за ужином и тоже просил прощение за своё преступление. Когда шествие кончилось, все четверо встали и пошли за братиею. Старик, со сломанной ложкой в руках, долго тёр лоб и крестился: знать, не легок подвиг такой.

Потом два трапезаря, в передниках, вынесли из столовой большое корыто и поставили у стенки. Один из них постучал палочкой в деревянную доску, нарочно повешенную подле трапезы. Лишь только послышались эти звуки, четвероногие обитатели афонской горы – коты монастырские, задравши хвосты, помчались на знакомый зов, к своему несытному ужину. Они тоже приучены к дисциплине. Впоследствии я узнал, что коты афонские

едят тоже, что и люди, т. е. травку разную, да оглодки хлеба.

Прошло не более полчаса, как мерно застучал ток [5], потом била, клепала и колокола. То был благовест к бдению. Братья опять пошли к церкви. Лица суровые, истощенные, невидно ни одного румяного лица, хотя молодых довольно много. Я тоже отправился на бдение и сел вместе с монахами в одной из стасидий [6]. Все сидели до тех пор, пока дьякон не произнес «возстаните!» После этого началось каждение, сперва образам, а потом каждому присутствующему отдельно. Это каждение продолжалось более получаса и затем уже началась служба. Монахи стояли неподвижно, понутив головы. Я не заметил даже, чтобы кто-нибудь из них перекрестился, хотя наблюдал за этим внимательно. После я узнал, что афонские монахи за службой должны креститься только тогда, когда положено в церковном уставе. В кельях им позволено молиться сколько душе угодно, а в церкви хвастать своим благочестием запрещено: служба должна проходить чинно. Невольно вспомнил я наших молельщиков за обедней,

где у каждого идет своя собственная служба, без всякого участие в общественной. А здесь всё подведено под общий уровень и выдаваться из него никто не должен.

Много слышал я о греческом пении, и взял даже нотной бумаги с собою, чтобы переложить его на наши ноты, – да нет, не переложить. Это что-то бесконечно дикое, уродливое, действующее слишком неприятно на нервы новичка. Долго я пересиливался, но не смог и вышел из церкви. На дворе пусто, за воротами та же пустыня, даже море стоит, не шелохнется, точно стекло. Думал было спать лечь, но невозможно было заснуть на этом рое блох, клопов, схирипов и всяких ядовитых насекомых. Под потолком кружатся летучие мыши, под полом визжат не летучие, в затхлом воздухе режут целые мириады комаров. Долго вертелся я с боку на бок, наконец, как помешанный бросился вон из комнаты в коридор.

– Как же возможно жить здесь? думал я, бессознательно вглядываясь вдаль.

А ночь такая яркая, звездная, лунная. Прямо за стенами монастыря высоко подымается

гора Самара. Она кажется черной массой, но и на ней можно рассмотреть все её малейшие изгибы, а белые хижинки пустынников так и светятся, будто фонари. Вот огонёк засверкал на этой горе, – то явится, то опять пропадет: кто-то пробирается среди виноградников... Тихо, на дворе ни души: иноки на целую ночь заперлись в церкви, и порой только, будто вопль какой, слышится оттуда монотонное пение псалта [7]. И как гармонирует с этой тишиной мелодичное журчание источника; он тоже что-то напевает, то грустное, то веселое; песни эти, чуть слышные днём, теперь звучно раздаются в дремлющем воздухе и тяжело делается на душе от этих звуков, слишком напоминающих мир. Только ещё сегодня я из мира, а уж опять хочется бежать туда, хочется слышать говор людской. И понял я теперь страшную минуту отречение от мира и ту громадную борьбу, какую выносит монах, стараясь сжиться с этой пустыней и задавить в себе потребности своей природы.

Вот опять долетело до меня пение псалта, и чудится мне в этом пении какой-то сдержанный плач, надрывающий душу, плач ко-

торым силится это бедное человечество примириться с небом и отогнать от себя неотвязные думы и воспоминания, запрещенные афонским уставом. Да нет, видно трудно заглушить эти воспоминания, если душа так крепко сроднилась с ними...

И так простоял я до рассвета.

II. МОНАСТЫРИ ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЕ (КИНОВИИ)

Строгость устава общежительных монастырей. – Изнурительны и труд спасения. – Церковные службы. – Келейные правила. – Обстановка жизни монашеской. – Пища, одежда и помещения. – Непосильная борьба с мирскими привычками. – Духовники и их значение на Афоне. – Радости афонские.

«**Н**е легко достается на Афоне спасение!» – подумал я, вглядываясь в изнуренные лица и тощие фигуры афонских подвижников. Чтобы понять весь труд, который достается на долю их, взглянем поближе на их жизнь монастырскую, на их горе и радости, и мы увидим многое, что заставит нас подивиться и призадуматься.

Монастыри общежительные сложились в строгую форму общины, образцы которой мо-

нахи отыскивали в первых веках христианства. Здесь всё подведено под один общий уровень: всем дана одинаковая пища и одежда, никто не имеет никакой собственности, так что кельи иноков никогда не запираются и любопытный найдёт в них все те же вещи, какие имеют и остальные иноки. Если кто утаит от братии хотя часть своего имущества, то его осуждают на общее проклятие, выгоняют из общины и по смерти лишают погребения. Этой клятвой угрожают монаху ещё при пострижении, когда он, по примеру апостольскому, складывает всё своё имущество к ногам игумена и таким образом сразу отказывается от собственности и свободы. Все нужды монастырские справляются своими же силами братии; тут есть свои слесаря, столяры, портные, каменщики, повара и проч., у которых кипит работа во всё время, свободное от служб церковных.

Кроме того бывают ещё общие послушания [8], от которых не смеет отказаться ни один из членов общины. Это бывает при сборе винограда, при выгрузке монастырских судов и проч., и часто сам игумен работает в по-

добных случаях вместе с братьями и поощряет их. Из всего общинного уровня выделяется только несколько личностей, составляющих монастырское начальство: это игумен и духовники, которых выбирают из среды своей сами монахи. Игумен и духовники имеют право назначать всякие послушание и управлять делами каждого монаха, как им вздумается, без всякого контроля. Они могут заставить песок считать, или толочь воду, и монах обязан повиноваться безусловно. В большом почете также все иеромонахи. Монах при встрече с иеромонахом должен поклониться ему до земли, поцеловать его руку и снова повторить поклон. На этих вековых поклонах основано афонское смирение.

В этих скромных, отдаленных от мира, общинах вырабатывается счастье жизни загробной, которое достигается здесь путем медленного самоумерщвления. Учение Спасителя об умертвии удов и распинании плоти со страстями и похотями служит главным принципом афонского отшельничества, — и вся деятельность, вся жизнь монаха направлена к одной этой цели. Тут всякая мирская

мысль или веселое воспоминание считается тяжким грехом, всякая потребность нашей природы считается искушением бесовским и в этой неестественной борьбе с самим собою проходят все годы отшельника, часто до глубокой старости, пока на конец он, по афонскому выражению: «станет выше человеческой природы и достигнет состояние ангельского.» Труд громадный, но зато и самоумерщвление бывает полное: физическое и нравственное, и тогда уже монах ждёт только натуральной смерти, чтобы сделаться членом царствие небесного.

Чтобы довести человека до состояние безстрастного и таким образом облегчить для него путь ко спасению, общинный устав прежде всего, старается измозжить, и обессилить грешное тело подвижника, и лишить его тех здоровых соков, приобретенных мирских раздольем, от которых происходят все почти искушение афонские... На этом основана целая система физического истощения, за исполнением которой строго следят духовники и игумен.

Службы монастырские увеличены до та-

ких размеров, каких не найти нигде в мире, кроме Афона. Обыкновенная утренняя продолжается пять часов, обедня два [9], вечерня два часа, повечерие – час. Следовательно, монаху ежедневно приходится провести в церкви около десяти часов безвыходно. На сон ему даётся всего пять часов в сутки, в остальное время он исполняет разные общественные работы. По воскресеньям утренняя продолжается от 10 до 12 часов, по большим праздникам от 12 до 14 часов и в эти дни, принимая в расчет остальные службы, монахи проводят в церкви почти что целые сутки. Любят афонцы похвастать перед поклонниками своими всенощными бдениями. Но рассказывая, как их видимо укрепляет небесная сила в таких великих трудах, афонцы почему-то умалчивают, что им позволено готовиться к бдению, и что, в силу этого позволения, они спят часа четыре перед бдением, да столько же после него. Без этих отдыхов, частое бдение было бы выше сил человеческих. Уже опытные, привыкшие к вечному стоянию, монахи говорили мне, что после каждого бдения надо поправляться несколько дней.

Афонские бдение сохраняют тот же порядок, что и наши мирские всенощные. Здесь только вся задача в том, чтобы затянуть службу и таким образом пробывать в церкви как можно долее. Для этой цели пение растягивается донельзя: каждое «Господи помилуй» поется с бесконечными руладами, псалмы и каноны без всяких выпусков. Кроме того три раза ход службы прерывается чтением разных поучений, относящихся к празднику, и в это время братие сидит в своих формах, силясь преодолеть искушение сна. Этих сидений, впрочем, очень немного и монаху все-таки приходится две трети бдение быть на ногах, потом сряду же отстаивать обедню и т. д. От долгих стояний большая часть отшельников страдает грыжами, отеками ног и другими мучительными болями. Особенно страдают певчие, несущие двойные труды.

Кроме этих общественных служб, каждый монах имеет свои келейные правила, исполнение которых поверяется на совесть отшельника. Особенно тяжелы правила схимнические. Схимник в своей келье ежедневно обязан отсчитать 1200 поклонов поясных и 100

земных; а если из братии кто-нибудь помер, или несчастье какое предвидится, то прибавляется ещё несколько сотен поклонов. Это называется чётки тянуть, потому что при каждом поклоне, чтобы не сбиться в счете, труженик перетягивает зерно четок и читает коротенькую молитву. Схимники (а они составляют большинство братии) тянут чётки обыкновенно ночью, за час до утрени.

Спрашивал я монахов, хватает ли у них внимание при исполнении подобных правил? Ведь, кажется, очень легко сбиться с толку и запутаться в молитвах? Мне отвечали, что я, будучи мирянином не в состоянии понять всей сладости этого труда, и что внимание их никогда не отвлекается от Иисуса. Старики уверяли меня, что это у них уже вошло в привычку, и что за каждой службой ум их невольно устремляется к Богу и созерцает славу Христову и счастье горнего блаженства. Может быть это так, но нам грешным этого не понять. Много надо труда и напряженности внимания, чтобы не развлекаться во время правил и служб церковных, повторяющихся ежедневно, с неизменным порядком и содер-

жанием, в течение нескольких десятков лет. Нам понятнее жалобы некоторых иноков на то, что во время службы их более всего одолевают мирские помыслы.

Если монах, исполняя поручение начальства, или по другим каким-нибудь причинам, не может быть в церкви, то он должен прочитать все службы по книжке, или, если читать не умеет, за каждую службу протянуть определенное число четок. Последний способ молитвы употребительнее, потому что грамотных, особенно между русскими монахами, немного. И часто случалось мне на дорогах встречать этих молящихся отшельников. Идет он куда-нибудь верст за десять, в соседний монастырь, идет дряхлый, измученный, с огромной котомкой за плечами, а сам нашептывает молитвы и бегло перебирает большие нитяные чётки. Надо заметить, что монахи очень любят молиться на четках, особенно если чётки заменяют службы церковные. По четкам монах живо прочитает узаконенный счет молитв, следовательно освободится раньше остальной братии.

Теперь заглянем в братскую трапезу и по-

смотрим чем питаются отшельники, после таких непомерных трудов?

А питаться-то им нечем: пища афонская слишком непитательна. Подадут им суп гороховый или картофельный, потом какие-нибудь бобы, или фасоли, от которых спираются внутренности, и при этом кружка вина пополам с водою, – вот и весь обед. А если кто нечаянно ложку сломает, или провинится в другом чем, то и этого обеда не дадут ему, а заставят тянуть чётки во время стола, и потом положат ниц у дверей просить прощение у общины. За ужином блюдом меньше, а и ужин-то бывает не всякий день: по понедельникам, средам и пятницам монахи довольствуются только одним обедом без ужина. В посту великом так и обед за редкость: дают только по куску хлеба, да по кружке воды; вино в посту не полагается, кроме дней, означенных в церковном уставе. Бывают даже дни, когда совсем запрещается пища, но таких дней, к счастью, немного.

В праздники, и то самые огромные, подается в трапезе рыба, которая, в течение целого месяца ловится рыбаками-монахами, и изжа-

ривается за неделю, а иногда и раньше, до праздника, чтобы не совсем сгнила. Но это бывает раза два, или три в год, а в остальные дни та же неизменная травка сырая, травка вареная, травка жареная, и так во все дни до окончания живота.

В русской киновии в виде роскоши, русским монахам позволяют пить чай по некоторым дням и перед обедом дают по рюмке водки, для сварение желудка; а грекам, чтобы они не завидовали, дают иногда кофе, который и мелется для этой цели жерновами на мельницах... Для духовников и игуменов, как для людей почтенных и слабых, в некоторых киновиях готовится особый стол, более приличный и питательный.

Вот и вся пища киновиата. Спрашивается, чем же тут поддерживается жизнь, как не воздухом афонским, да остатками соков, добытых ещё в мире?...

Теперь несколько слов о помещении.

Каждому монаху отводится отдельная келья в здании монастырском. В каждой келье одно окно, большею частью занавешенное зеленою шторою, стол, деревянная койка, по-

крытая войлоком, без подушки и одеяла, и несколько икон. У грамотных можно ещё найти молитвенники и ноты. Больше ничего не полагается. Я никогда не мог долго оставаться в кельях монашеских: воздух до того спертый, прокислый и удушливый, что голова кружится. Всё в келье обыкновенно покрыто толстым слоем грязи, на войлок взглянуть страшно, – и в этой гнилой атмосфере, среди вечной грязи, проходит келейная жизнь отшельника. Спросят, отчего это неряшество?... А оттого, что чистый воздух в келье – роскошь; чистота – поблажка прихотям мирским, запрещенная на Афоне. Только раз в год чистит и метет свою келью монах, кажется, перед пасхой, а в остальное время он заботится только о чистоте души. Русские монахи, привыкшие к опрятности в мире, иногда ещё подчищают кельи и продувают их, а греки далеки от этой заботы: грязь их не тревожит.

Тою же грязью, тем же прелым запахом пропитана вся одежда монаха, потому что он никогда не сбрасывает своей одежды, даже спит в ней. Монах-киновиат, редко меняет белье, частью от небрежности, частью оттого,

что он не должен видеть наготы своей, чтобы не соблазняться на самого себя. Мыться ему запрещено, и потому о банях и помину нет на Афоне, иногда допускается только монаху вымыть голову, и то, в крайнем случае, когда головная чесотка делается нестерпимой.

Поверят ли мне, что на Афоне, в видах ложно-понятого умерщвление грешной плоти, нарочно не истребляют блох, клопов и подобных им насекомых [10]. Ими полны не только койки и кельи монашеские (особенно весной и осенью), но даже формы в церквах. В некоторых монастырях монахи сами просили у духовников благословение вымыть формы (стасидии), но духовники не дали его. «Клопы помешают вам спать во время службы» – были ответы духовников. Помню каково было моё удивление, когда на всеобщем бдении, среди запаха ладана, я явственно расслышал запах клопов и, оглядевшись, с ужасом увидел, как они, такие жирные, окормленные, прогуливаются по моей одежде.

– Что это? спросил я монаха-соседа.

– Клопы, – ответил тот равнодушно.

– В церкви-то?

– Много их тут. Сегодня, что-то очинно шибко кусают: знать дождь будет.

И монах лениво почесался.

Трудно понять, как можно сосредоточиться в молитве, когда тело находится в такой пытке? А впрочем, привычка – великое дело. Многие иноки до того привыкли к этому запаху и ощущению, что их клопы уже не могут разбудить за службой, а будит пономарь.

И вот та грустная, непривлекательная обстановка, среди которой должен спастись монах афонский. Каково же она должна подействовать на новичка, когда он, решившись присоединиться к общине, с ужасом увидит всю эту массу лишений, с которой ему надо будет сжиться? Его положение тем более печально, что подобные лишения долго скрываются от постороннего взгляда. Для нас, избалованных мирским довольством, подобное самоотвержение непонятно.

Но то не всё. Главные труды ещё впереди. Монаху предстоит ещё громадная ломка своих нравственных привычек и убеждений, а с ними сладить не так легко, как с потребностями физического довольства.

«Монах должен холодно смотреть на жизнь земную; должен ненавидеть грешный мир с его обычаями!» Так гласит афонский устав. И вот силится монах приобрести эту ненависть к миру и заглушить в себе родные привычки и воспоминания, к которым с малолетства приросла душа его. Некоторые афонские труженики признались мне, что, желая возненавидеть мир, они старались очернить и опорочить его в своем воображении, и для этой цели нарочно вспоминали самые непривлекательные стороны мирской жизни. Если это средство не действовало, они бежали к духовнику за советом, и тот только мог сильнее настраивать на этот лад. «В мире гибель, — говорил им духовник; — в мире нет спасения! Бойтесь князя мира сего!...» И страх нападал на робкие души от этих внушений.

Не смотря на старание устранить в обстановке жизни монашеской все, что только может напоминать отшельнику мирские привычки, все-таки остается многое, что напоминает ему счастье и радости жизни земной. Придут поклонники с отголосками родины и

заведут разговоры о предметах близких сердцу; увидит монах свежее личико юноши, смех и говор веселый, он не подаст сначала и виду, что страдает: напротив даже постарается похвастать пред поклонниками своими аскетизмом, – но потом он незаметно уйдет в свою келью и там отдается на жертву разным искушениям: плачет кровавыми слезами, И хотелось бы ему забыть свои прошлые радости и возненавидеть этот проклятый мир, да где же сил-то взять? «Господи! где же сил взять?» – думает он. А духовник по прежнему шепчет ему: «молись, несчастный! это демон искушает тебя!»

И странно, на Афоне, говорят, как-то сильнее любят мир. Иной, до монашества, ругает его на чем свет стоит, приходит в ужас от его растление и разврата, и бежать скорее на Афон. Но лишь попробует он здесь отказаться окончательно от старой жизни для новой, – тут только и почувствует какие крепкие струны связывают его с родиной и мирским бытом, и как трудно порвать эти струны. Есть впрочем, на Афоне отшельники, которые, путем долгого отрицание приобрели, наконец,

ненависть к миру и с искренним сожалением смотрят на каждого мирянина. Но с ними мы познакомимся впоследствии.

Раз, помню, гулял я с монахом на берегу моря. Вечер был чудный: я увлекся воспоминаниями о родине и запел какую-то песню. Мой спутник побледнел и растерялся.

– Друже, друже! проговорил он робко: – ради Христа не мучь меня! Ведь мне за это чётки тянуть придется...

– А что?

– Да как же? Ведь я сам певал когда-то; и ты думаешь легко мне было забыть эти песни? А ты вот опять...

– Ну, не буду.

Я замолчал, но монах долго оставался в тревоге, и наконец, объявил мне, что пойдет к духовнику исповедаться.

Этот факт показывает, до какой степени монахи строги к себе, и какой незначительный случай может быть для них источником страданья.

Кельи духовников никогда не запираются, и во всякое время дня и ночи ходят к ним на исповедь искушенные [11]. Громадное влия-

ние имеют эти духовники на быт афонского монашества, и с благоговением, как закон, слушают монахи их внушения. Надо признаться, что немало сообразительности и ловкости надо иметь духовнику, чтобы поддерживать согласие между членами коммуны и отвечать на разные вопросы приходящей братии. Он и сам смотрит на себя, как на что-то высшее, и искренно верит, что его устами говорит дух благодати божией. Вот обращение одного из духовников, в котором ясно обозначился его взгляд на мир и райское блаженство.

Молодой монах силился представить в своем воображении райское блаженство; но как ни ломал голову, представить не мог. Бежит он с недоумением к духовнику, а тот, в виде лекарства, велел ему отсчитать перед образом тысячу поклонов земных. Монах, конечно, исполнил, замолчал на несколько времени, а потом опять пристает к духовнику: «не могу, говорит, спасаться: бесы мешают.»

— Что же бес говорить? спрашивает его духовник.

— Говорит, что спасаться не стоит, что не

велико блаженство видеть Бога и прославлять его.

– Я вижу, что ты ещё слишком молод, начал духовник: – и что тебя ещё смущают мирские помыслы. Поживешь подольше, так искушаться этим не будешь!... А ты теперь вот что бесу скажи. Природа человеческая до того испорчена после грехопадения, что блаженство, обещанное нам Богом, в самом деле непонятно для мирского глупого разума. Наша грязная природа, привыкшая к прихотям мирским, не может представить, что за счастье петь славу Божию и жить между бесплотными силами. Поэтому назначение инока состоит в том, чтобы переделать эту природу, искоренить все, что дал ей грех да растление, и тогда райское блаженство будет для него возможно. Вот мы, например, понемногу отучаем себя от мирских привычек: денег мы не имеем, женщина для нас грех, думы и заботы о земном счастье – тоже, вот мы и будем в состоянии наслаждаться райским счастьем. А мирской человек не поймет блаженства без денег, без женщин и вина, не представит себе даже райского равенства, которое

может быть только при полном смирении, как у нас. Вот ты это и скажи твоему искусителю!

После этого назидания, монах больше не тревожил духовника. Видно понял он, что действительно надо переделать себя, чтобы вообразить райское блаженство, понял видно, что рай будет нечто в роде Афона.

Но таких монахов, занятых догматическими исследованиями, немного. Большинство не пускается так высоко, отрецивается от всех сомнений и побаивается только чёрта и ада. У этих отшельников, по большей части простых и неученых, – чёрт на каждом шагу, и страх гееннских мучений до того одолевает их, что они сами просят себе лишние посты и каноны, лишь бы успокоить своё встревоженное воображение. Духовники, конечно, на посты не скупятся и бедные отшельники сразу наваливают на себя непосильные труды и измозжают остатки своего здоровья. Говорят, что при этом лихорадочном подвижничестве, чёрт, как нарочно, ещё неотвязчивее смущает душу и рисует ей картины адских мучений и огня неугасаемого. Такие отшельники недол-

говечны.

От этих-то непомерных трудов и лишений трудно встретить в киновиях здоровое свежее лицо: все лица какие-то желтые, изнуренные, болезненные. Жалко смотреть на них. И как разительно-быстро замирает и изменяется человек от такой жизни! Придет молодец молодцом, полный сил и здоровья, и вдруг, после нескольких месяцев непрерывного поста и стояния, он так изменится, что и узнать трудно. Помню: я часто любовался одним молодым парнем поклонником; что за красота была: лицо румяное, грудь богатырская, взгляд смелый с удалью и беспечностью чисто русской. Дать бы такому молодцу работу, какую, – за троих бы работал; ан нет: – пошел в монахи. Через год я встретил его уже в монашеском платье, с четками и робким болезненным взглядом. Я едва узнал его.

– Ты ли это, Кубаков? – спрашиваю его.

– Не Кубаков, а отец Василий, – ответил тот.

– Помер, значит, наш молодец?

– Помер, чтобы воскреснуть в царствии небесном. Когда в мире жил, нечего греха та-

ить, жить было лучше, а теперь хоть и труднее жизнь, да за то Бога увижу.

Он закашлялся и вздохнул. В разговоре его, впрочем, проглядывало что-то нерешительное, точно он говорил с чужого голоса.

– Зачем ты в монахи пошел? спросил я опять.

– Бог призвал... Значит так на роду было написано.

– Да ведь у тебя сил было много, работать бы мог; у нас и то работников не хватает.

– Найдутся. Да с работой и не спасешься... где в мире спастись!

– Отчего же и не спастись? Миряне не дают таких обетов, как вы: с них меньше и требуется.

Василий посмотрел на меня пристально.

– Не искушай меня, голубчик! мне и то бесы покоя не дают: проговорил он умоляющим голосом и опять закашлялся. На губах его показалась кровь.

– Да ты болен, о. Василий?

– Что же тут худого? значит скоро покончусь, а там шабаш.

К следующей весне он покончился.

И немудрено, что так быстро увядает здесь молодость. Труд громадный, неестественный, недостаток сна, тяжелая пища и вечная тревога души, – всё это огнем пожирает свежие силы и безвременно сводит в могилу. Конечно, не всякая натура скоро сломится от такой жизни. Большинство монахов, особенно греческих, доживает до глубокой старости и, не смотря на всю суровую обстановку, седая борода чаще других встречается на Афоне. Это те счастливые натуры, которые свыкаются с всякими неудобствами жизни.

И так-то взглядишься пристальнее в эту жизнь, сличишь ее с мирскою жизнью, и увидишь тогда, что это уж не жизнь, а какой-то другой мир, оригинальный. Недаром сами отшельники называют себя мертвецами для мира. Здесь и разговоры-то подчас слышатся непривычные для нашего уха: идет оценка целой жизни мирской, будто разговор действительно идет уже за гробом: в царстве мертвых. Говорят подобные разговоры бываю-ют ещё в тюрьмах или в каторге, но там они не имеют такого значение как здесь. Там есть ещё надежда на свободу и новую деятель-

ность; а здесь уже всё покончено с жизнью, и даже, вольно или невольно, проклята она, эта прошлая, порой счастливая жизнь!...

А что же радости афонские? Ведь нет, говорят, такой жизни, в которой нельзя найти ни одной светлой минуты. Есть эти светлые минуты и в общинах афонских. Вот в пасху, например, все веселы, шалят даже как дети. Перед хорошим обедом у некоторых видны улыбки. Перед повечерием иноки собираются за воротами обители, и многие, в ожидании службы, за которой следует сон, тоже шутят и улыбаются. Иной в восторге от какого-нибудь видение другой подсмеивается над удивлением и неловкостью поклонников... Раз, помню, общую радость возбудило в монастыре повествование Северной Пчелы (при мне ее получало начальство в Руссике) о каком-то чуде близь Херсона...

Да нет, впрочем, это всё не радости, а что-то такое странное, чему и название не приищешь. Глядя на подобные радости, все-таки скажешь про себя: Да! Не легко на Афоне достаётся спасение!...

III. ГЛАВНѢЙШІЯ ПОБУЖДЕНІЯ КЪ МОНАШЕСТВУ.

Народности, населяющие Афон. – Характеристика местных монахов. – Что привлекает их к Афону? – Причины пострижения. – Схимники. – О. Анатолий.

Разные народности соединились на горе Афонской для одной цели. Тут есть и греки, и болгары, сербы, молдаване, русские, грузины, даже выкресты из ту рок и евреев. Вглядываясь в разнородную массу отшельников, невольно задаешь себе вопрос: что заставляет этих самомучеников променять спокойную семейную жизнь, на такую подвижническую и пустынную?

Конечно, монахи говорят, что тут на первом плане стоит потребность спасения, но под видом этой потребности часто скрывается побуждение обыкновенное, житейское. Иному мирская жизнь до того не красна, что

он с удовольствием меняет ее на афонскую, которая не смотря на строгость её обрядового склада, всё таки кажется краше. Другой, с малолетства впал в мистику, озлобился на грешных людей и бежит от них на Афон – спасаться. Третий думает поживиться здесь чем-нибудь, или пожить барином на чужой счет, благо хлеб даровой, а работа хоть и трудная, но привыкнуть к ней можно! Четвертого лень заела, и идет он на Афон отдохнуть да понежиться [12], – и так далее в этом роде. А главное, что побуждает деловой народ покидать мир и постригаться в монашество – это горе и неудачи житейские. Оно естественно: только сильное горе вызывает у человека обращение к уединенной, отшельнической жизни.

Местные жители теряют на Афоне не так много, как выходцы иных земель. Грек на родине; он слышит здесь родной язык, видит свои обычаи, ест свою пшеницу. Притом грек очень хорошо знает, что такое жизнь афонская и готовится к ней ещё в мире; а для русского, например, здесь столько разных лишений, неизвестных ему на родине, что неволь-

но дивишься его самоотвержению. Надо иметь много решимости и религиозной сосредоточенности, чтобы бросить родину, отказаться от всего, чем светла мирская жизнь, и остаться навсегда в такой неприветливой для русского стороне. Но так кажется с первого взгляда, а на самом-то деле эта решимость является у русских очень легко и часто даже бессознательно. Большая часть здешних земляков наших, как я узнал из разговоров с ними, – это разные странники наши, которые заезжают на Афон по пути из Иерусалима на родину; заезжают без всякого желание остаться здесь, а между тем остаются. Не те пресловутые странники, промышляющие своим странничеством на Руси, которые боятся, как бы в самом деле их не заперли куда-нибудь, а простые неопытные мужички да солдатики, суеверные и легковерные, видящие в загробной жизни грозное предзнаменование. Для них Афон – беда, потому что Афон страшен своим впечатлением на подобные натуры.

Говорят, что ещё на пути к Афону, в виду этой горы, большая часть поклонников на-

ших теряет спокойствие и смутно ждёт чего-то чудесного. С этой тревогой души, поклонник робко вступает на берег св. горы. Весело, но строго встречают его здешние отшельники; разговор не тот, что в мире, смирение хозяев полное, но в тоже время они смотрят на мирянина с видимым сожалением, будто говорят ему, что «вот, дескать, ты пропащий человек, а мы спасаемся!» Да и сам он сразу заметит, что здесь дело спасение идет не на шутку, не то, что в мире. Потом наговарят ему про искушение демонские, про разные видения, расскажут несколько чудес, и ходит поклонник сам не свой, не зная что делать с собою. Среди этих впечатлений ему вдруг ясно вспомнится суетная жизнь мирская, в которой нет ничего подобного, и вспомнится эта жизнь в самом непривлекательном свете. Все прошлые дела и даже думы житейские, к которым уже давно пригляделся грешный мир, теперь ему покажутся преступлениями, и вот совесть его начинает заговаривать, а в голове так и рисуется геенна огненная. Плохо приходится поклоннику: страх забирает его не на шутку, а тут ещё бде-

ние...

Бдение афонское, своей мистической обстановкой, более всего действует на воображение подобного поклонника. Тут собрано, кажется, все, что только может отуманить новичка и настроить его на религиозный лад. Входит он в церковь: там темно, и только чуть мерцает несколько цветных лампадок перед иконостасом. Вглядываясь, он различает в этом полумраке, вдоль стен, темные, неподвижные фигуры отшельников с опущенными наметками [13]. Чуть слышно и медленно звучит в храме заунывное пение псалма: из алтаря долетает шепот молитвы иеромонаха; никто не шелохнется, ни одним звуком не нарушит торжественного спокойствие службы. Стоит поклонник час, стоит другой – тот же полумрак в храме, та же неподвижность, те же звуки псалма, хватающие за душу. В этой обстановке так и чудится ему присутствие какого-то высшего существа, в голове невольно возникают полузабытые грезы о мире ангельском, о чем-то бесконечном, райском. И ничто не прервет этих дум, кажется будто и все монахи погружены в свои за-

облачные думы... В полночь обстановка несколько меняется: церковь ярко освещена, монахи со свечами в руках поют величание празднику; потом опять водворяется прежний мрак и тишина, и так всю ночь до солнца. Усталый, измученный новичок едва на ногах держится; ему хотелось бы отдохнуть, а тут раздается новый благовест на новое стоянье – к обедне, и невольно подивиться он тогда подвигам братии афонской... Потом поклонник идет в трапезу и ест жалкую пищу монашескую, следит он за разными послушаниями и обычаями братии, сходит даже на кладбище, где ему тоже расскажут несколько чудес, которым он верит, тем более что в самих монахах замечает полную искренность веры, и вот он уже совсем побежден, с ужасом оглядывается на жизнь мирскую и бежит к игумену просить пострижения. За тем над ним, в присутствии всей братии, совершается обряд пострижения; надевают на поклонника рясу, дают ему чётки, и вышел – афонский монах.

Случается, что на Афон приезжают разные художники, ремесленники, мастеровые, сло-

вом, люди, в которых нуждается община. За такими людьми, по внушению монастырского начальства, особенно ухаживают монахи. Тут они употребляют все, что может затронуть совесть и возбудить ненависть к жизни мирской, и часто успевают. Если такой поклонник захворает, а это случается от незнание некоторых условий афонского климата [14], то и в больнице монашество следит за ним и пугает его загробными муками, дабы обратить его на путь спасения. «Тебе умирать надо: говорят они, так не лучше ли умереть в чине ангельском? Такая смерть всего приятнее Богу.» Больной не решается: всё ещё надеется выздороветь и воротиться на родину, но потом на него нападает уныние, чуется ему приближение смерти, – за нею страшные загробные мытарства, адская участь грешника, и сам он, как милости, просит пострижения. Его прямо постригают в великую схиму и отпевают заживо. Хорошо если больной действительно умрет, но вдруг он выздоровеет: обет произнесен, связь с миром разорвана и на человека, может быть, избалованного жизнью, вдруг всю тяжестью ложатся правила

схимнические. И хотелось бы ему отказаться от схимы, но уже невозможно, и вот начнется у него долгая, мучительная борьба с прежними привычками, кровавыми слёзами будет рыдать он о мирских привязанностях и искать напрасного утешение в напряженной молитве и постоянной исповеди. Бежать он не найдёт в себе сил, потому что над беглецом произносится страшное проклятие всего Афона.

Знают это наши бывалые поклонники и боятся хворать на Афоне. Помню я, как один поклонник день и ночь сидел у изголовья своего больного земляка и умолял его выздороветь. У того была жестокая лихорадка: пахло смертью. А этот товарищ до последней минуты целовал его руку и просил притвориться здоровым. «Тебя постригут, – говорил он сквозь слёзы, – а у тебя жена дома, детки маленькие, на кого ж ты оставишь сирот?» И больной рыдал вместе с ним и с этим же рыданьем принял он пострижение...

Встречаются впрочем, поклонники такого закала, что их не сманить никакими речами. Это такие странники (большею частью наши

послушники, сборщики, выдавшие виды на веку своем и т. п.), которые смотрят на монахов с житейской точки зрения, подозревают во всем только одно маскированное лицемерие, и радуются от души, когда им удастся заметить какие-нибудь слабости монашеские. Иногда и такой поклонник, слушая речи афонские, будто сдастся и даже уверит, что решается принять обет монашеский, но чуть пришел пароход, смотришь – бежит он, сердечный, со своей котомкой, торопясь занять место. «Погибнешь!» преследует его клич афонский...

– Э! погибать, так погибать! отвечает он, махнув рукой: – не я один погибну, а на мире и смерть красна!...

Таких гостей афонцы не любят. Не в пользу их трубят потом эти гости.

– Ну а вы братцы, как попали сюда? спрашивал я однажды двух новичков монахов, как видно, закадычных друзей.

– А мы попали сюда очень просто, – ответили мне друзья: – жизнь была у нас трудная, барин злющий, денег мало! думаем куда деться? Подумали да и поехали на гроб Христов; а

оттуда на гору афонскую, поглядели: – ничего, живут сносно. Вот, я и говорю товарищу: пойдём-ка, брат, мы в монахи, а тот отвечает, что ничего-мол, – можно. Ну и пошли.

В последнее время часто появляются на Афоне наши милые русскому сердцу, нищие. Оборванные, голодные, испытавшие все удачи и неудачи своего промысла, они ещё на родине прослушивают, что в афонских горах есть монастырь русский, куда принимают без денег, и вот, объехав конечно Палестину, они являются в Русских и тут всеми силами стараются примазаться к общине. Община неохотно принимает их, потому что эти нищие плохие работники. Чтобы отучить подобных гостей от монашества, игумен иногда сразу налагает на них схимнический канон. Иной не выдержит и убежит, а другой крепится долго, пока из жалости его не присоединят к братству. Такой субъект выходит монахом полным по наружности; то есть, ходит в церковь и на послушание, как и все, но его лицо сияет заметным удовольствием, когда послышится зов в трапезу, особенно когда есть разрешение вина и еля. Из них вырабатывается осо-

бый тип афонского монашества, который смотрит на церковные и келейные службы, как на поденную работу из хлеба; он кланяется игумену, как начальству, боясь провиниться пред ним; скрепя сердце отстаивает бдение, но зато никто из братии не всхрапнёт после ужина таким богатырским сном, как этот монах.

– Ну что, отче, каково тут жить? спросишь его.

– Ничего, живём. Квасу только нету, жалко, да капусты, а то бы нешто.

– А искушение бывают?

– Отчего ж не бывать им? бывают и искушения: особливо в пост.

Некоторые поступают в монахи по жребию, и ещё на родине присуждаются к монашеству своею семьёю. Несколько братьев, по приказанию старшин семейства, бросают жребий: кому отмаливать грехи семейные и просить Бога о счастье. Выборного наделяют родительскими благословениями, и с рыданиями и причитаньями отправляют в монастырь молиться. Ну, и молится. Такие грустные факты, по рассказам монахов, случаются

в наших юго-восточных губерниях и казацких землях и при этом повторяются те же сцены, как и при рекрутчине. Но таких монахов на Афоне немного.

Есть и такие выходцы из России, которые приезжают на Афон только для получения имени. Им почему-то особенно нужен сан иеромонашеский и вот они с разными пронырствами, притворствами и изумительным терпением долго добиваются этого сана и лишь только получают его – убегают назад в Россию. Но таких тоже немного. Наше духовное начальство не признает афонского пострижения и рукоположение и подобным аферистам приходится или скрываться от этого начальства, или надевать мирское платье, особенно если они не имеют законных свидетельств от греческих духовных властей.

После первого издание писем Святогорца, многие, в порыве увлечения, дали жаркие обеты Богу и прибыли на Афон спасаться. Конечно, они не нашли здесь тех привлекательных сторон, о которых писал Святогорец, но уже не решились воротиться на родину тем более, что их деньги тогда были очень нужны

Афону.

Некоторые отшельники почему-то не говорят о причинах своего обета и стараются даже замять подобные расспросы, точно боятся их. Эти отшельники, как я заметил, со страхом смотрят на каждого помещика, или офицера, приезжающего на Афон, боясь узнать в нем своего бывшего начальника. Их прошлое темно...

Вот все, что успел узнать я, расспрашивая иноков, преимущественно русских, о причинах, побудивших их к монашеству. Остается только прибавить, что большинство наших простолюдинов, привыкших к непривлекательной обстановке ещё в мире, теряет на Афоне не слишком много и после непродолжительной борьбы с разными мирскими привычками, сживаются с Афоном окончательно. Эти отшельники не знают искушений ума, самого страшного из искушений афонских. Но каково здесь человеку, мало-мальски развитому, привыкшему к лучшей обстановке, особенно если он принял пострижение необдуманно, вследствие болезни, захватившей его врасплох на Афоне? Ужасно состояние этих

людей!

Помню я симпатичную личность о. Анатолия, одного из мучеников афонских, который в течение десяти лет напрасно силился подавить артистические порывы души своей и подделаться под формы общинного устава. Он был когда-то музыкантом, управлял даже оркестром и хорами, был воспитан прилично и привык к жизни комфортабельной. Некие странники-проходимцы сманили его к путешествию на гроб Христов и тот из любопытства поехал, вовсе не думая, что на веки прощается с родиной. По пути, как водится, захали на Афон помолиться; но тут он скоро же захворал и больной был пострижен в схиму великую. Анатолий был мистик; его поразило это событие, в котором он ясно увидел руку промысла божия, и выздоровев, он решился покориться этому промыслу и отказаться от родины. С тех пор у него началась бесконечная борьба с условиями новой жизни. Я видел его спустя девять лет после этой катастрофы, и он всё ещё страдал невыносимо: он не спал по ночам, старался обессилить себя бдениями и постом, плакал и молился,

но легче не было. Как теперь вижу его высокую, согнутую фигуру: в осунувшемся лице ни кровинки, глаза тусклые, будто глаза мертвеца. Любил меня о. Анатолий, и, кажется, завидовал мне; я невольно напоминал ему что-то прошлое; и, может быть, счастливое...

Часто, поздним вечером, при свете лампы, сидел я в своей крошечной келье и поджидал о. Анатолия. Войдет он тихо, присядет машинально на мою постель и устремит на меня вечно задумчивый взгляд свой. В тоскливых и болезненных движениях его проглядывает затаенная тревога, которую тщетно старается он рассеять, и так бывало, сидит долго, ни слова не скажет, только вздохнет тоскливо и уйдет восвояси. Но иногда разговорится он, и тогда до глубокой полночи льются его речи и поблекший взгляд его оживает.

– Вы всё ещё не спите? однажды спросил я, когда он вошёл в мою келью позже обыкновенного.

– Сегодня не могу спать, отвечал Анатолий. Лег было, но сны такие тяжелые, что надо было подняться. Все грезятся мне ещё родствен-

ники, да мирская жизнь; не знаю куда и деться от этих снов. Когда же, наконец, я забуду всё это, Господи? Ведь чуть маленькое послабление воли, и пойдут воспоминания, одно другого лучше, и молодость вспомнится, и родные мои, и музыка мирская, – бегаешь, как шальной из угла в угол до тех пор, пока духовника не увидишь. Много осторожности надо иметь монаху, а то беда!

– Отчего же вы так боитесь этих воспоминаний? Ведь они не вредят вам!

– Как не вредят? Когда монах с наслаждением вспоминает о мирских делах, он слушает демона. Монах отказался от мира раз навсегда и должен забыть его прелести, должен даже благодарить создателя, что вырвался из его омута и попал на путь спасения. Ведь я, например, был только на волос от гибели; меня там совсем опутали и хотели на веки приковать к миру... Знаете ли, Н. А., у меня была уже невеста, и я... Да нет...

Анатолий остановился и судорожно схватился зачетки.

– Что с вами?

– Ничего; это пройдет. – Друг мой! вы не

можете понять, что значит быть монахом. Вы не испытали той ужасной минуты, когда человек отказывается от мира, от родины, от всего милого грешному сердцу, и даёт страшную клятву жить и умереть отшельником. Я больной произнес эту клятву; но и теперь ещё помню, с каким ужасом оглянулся я на себя, когда монахи разошлись после обряда и оставили меня одного. Представьте себе опять то состояние, когда я, вышед из больницы, увидел снова мир божий и вдруг вспомнил, что для меня уже нет ничего в этом мире... Сила божие только удержала меня тогда от сумасшествия. Я любил музыку, любил общество, а здесь ничего этого нет, даже разговоры келейные запрещены строго; не с кем поговорить от души кроме духовника. А эта грешная страсть к обществу так сильна была у меня, что даже до сих пор не могу я оставаться наедине, так вот и сосет что-то, плакать хочется, поверьте; даже ропот является иногда...

О. Анатолий закрыл лицо руками и задумался. Я молчал тоже.

– Пожалуйста, расскажите мне что-нибудь!

Развлеките меня! – проговорил он через несколько минут.

– Чем же мне развлечь вас? Хотите посмотреть мой новый рисунок? Я только сегодня окончил его.

– Только ради Бога, нет ли в нем чего мирского?

– Это вид города Воло.

– Города? Нет не стану смотреть... Зато этим подвигом, заговорил о. Анатолий, продолжая нить своей думы, – мы достигнем райского счастья. Там, среди ангелов, в стране мира, любви и спокойствия, мы отдохнем наконец; но когда же? Господи! когда же это будет? Страшно подумать, если ценою таких страданий не искупишь прошлых грехов своих, и снова будешь мучиться адскими муками – целую вечность... Вечность! Ведь это океан, одной капли которого не исчерпаешь миллионами лет. Ужасно!...

Анатолий опять понурил голову.

– А тут ещё демон смущает, продолжал он медленным, задумчивым говором: – хочет он истребить остатки надежды, наполняет голову разными сомнениями и неверием. Иной

раз явственно слышу, как он шепчет мне на ухо: «что если напрасно ты мучишься? Что если нет жизни загробной?...» Волос подымается дыбом от этих сомнений, напрягаешь все силы веры, – бегаешь, плачешь, молишься, а он всё шепчет: «что если даром?...» Один только духовник в состоянии наставить нас и спасти от этой муки: – его боятся демоны... Да, друг мой, – произнес Анатолий, взглянув на меня: – не понять вам трудов монашеских!'

– Нет, я понимаю их, о. Анатолий, и удивляюсь только, как вы ещё можете жить здесь? Я бы, кажется, давно с ума сошел от такой жизни, или убежал бы отсюда.

– Молитесь! Вы тоже искушены! перебил меня монах. – Зачем же вы забываете могущество божие? То-то и чудо, что он не допускает нас до гибели. Есть какая-то сила, которая приковывает нас к св. горе. Ведь часто у нас является полное отчаянье, и даже решимость бросить все эти труды монашеские и бежать в мир, искать отдыха. Жажда отдыха бывает так велика, что даже все проклятие Афона и страх гнева божие не в силах удержать отшельника. Но чуть решится он, – непременно

что-нибудь помешает: или захворает на пути, или вдруг охота пропадает сама собою, или, наконец, просто страшно сделается... Поверьте, что на Афоне редкому не приходит на мысль искушение бегства, а бегут очень немногие. Не сила ли это божия?

Анатолий поднялся и подошел к окну.

– Вы завтра придете к обедне? спросил он.

– Пожалуй, приду, а что?

– У нас завтра похороны: брат один помер.

– И будет значит коливо, и лишняя сотня поклонов в день?

– Да, будет. Отчего ж не помолиться; после и за нас молиться будут. Счастливец! прибавил он со вздохом: – он уже покончил своё дело, достиг чего желал, а когда то мы своё покончим? Может быть ещё много и много трудных годов предстоит нам впереди! Может быть, и не такие искушение испытать придется! Помоги нам Господи! Отпусти скорее грехи непрощённые!...

– Неужели вам так хочется умереть?

– А вам хочется ехать домой, на родину?

– Ещё бы!

– Ну и мне тоже. Только моя родина теперь

не здесь, а на небе. Здесь мне нечего искать больше; и чем скорее призовет Господь к себе, тем лучше.

Трижды ударили в колокол. Анатолий вздрогнул и взял чётки.

– Пора на правило, уже полночь. Прощайте, друг мой! А мне ещё после канона к духовнику сходить надо: что-то трудно сёгодня.

– А вы так и не ляжете спать?

– Успею выспаться, когда смерть придет.

– Будто вы будете спать на том свете?

– Вы всё шутите! Спать будет только тело в могиле, а душа не спит никогда.

О. Анатолий удалился.

В соседних кельях послышался однообразный, равномерный шелест. То отшельники отсчитывали узаконенное число поклонов утреннего правила.

IV. Испытания.

Разнообразные виды монашеских испытаний и меры принимаемые против них. – Строгость Афонского целомудрия. – Отсутствие женщин и детей. – Иконы мучениц и святых жён. – Тягость и сила плотской брани. – Женщины, посещавшие Афон.

Оторванные от среды родной и закованные в условие жизни подвижнической, монахи, особенно молодые, долго борются с разными испытаниями. На Афоне так много испытаний, что самое слово «испытание» вошло между монахами в поговорку и составляет одну из особенностей афонского наречия. Первое время мне странно было слышать это слово в таких разговорах, где оно вовсе не клеится, но потом прислушался и даже сам иногда вклеивал его в свои речи.

Сидят, например, монахи на пристани монастырской и глядят в воду.

– Гляди-ко, о. Сергей, рыба-то, испытание!

– Ах, искушение, сколько её привалило!
Вот кабы словить, искушение!...

– Как-же, словишь! прытка больно, искушение...

Или в келье разговор слышится:

– Что, отче, завтра в трапезе у нас?

– Бобы, искушение.

– Эка напасть! Хоть бы уйти куда, искушение!... и т. п.

Тут, конечно, слово искушение произносится без всякого смысла – по одной только привычке, но эта привычка показывает, до какой степени монахи иногда бывают чутки к себе и как они силятся во всем отыскать искушение демонские. Оно и понятно. Лишь только пострижется монах на Афоне (а постригается он, как мы видели выше, в большинстве случаев бессознательно), он уже искренно верит, что чёрт теперь на стороже и что этот черт всеми силами будет стараться сбить его с пути истинного. Взгрустнется ли новичку-монаху по родине, явится ли недовольство чем-нибудь, или проснутся и заговорят в нем мирские страсти, монах с ужасом прислушивается к этомуговору и спрашивает

ет у опытных старцев, не бесы ли это смущают его? – Бесы, – отвечают ему опытные старцы, и вот молодой монах уже искушается. Затем пойдёт для него обычным порядком целый ряд искушений подобного рода, и ходит он целые месяцы, как шальной, со страхом разбирая малейшие проявления своей природы; иной, ошалевши, в мистику впадёт и захандрит; другой, более положительный по своей натуре, скоро приглядится к этим обыденным явлениям жизни афонской и рукой махнёт на них: «где, дескать, нам совладать с силой вражеской! и почище нас были да падали!...» Иной простяк-нигилист и в толк не возьмёт сразу, что тут демоны на каждом шагу, и даже решается спорить с монахами. «Какой же тут бес? – спрашивает он с недоумением: – мне просто есть хочется, с голоду всё нутро свело! Вот кабы явился он сам как есть, с рогами да с хвостом, ну я и увидел бы, что бес; а то голод забирает меня, а они говорят – бес...» И долго монахам приходится урезонивать такую голову, неспособную к пониманию афонской догматики. Но есть натуры, которые во что бы то ни стало, хотят преодолеть

все эти искушение демонские и стать выше их. С изумительною стойкостью и самоотвержением переделывают они себя и с каждым днем вырывают из души своей жизненные сокровища, имея в виду те идеалы подвижничества, которым даже Афон дивится. Это большею частью те пылкие, горячие натуры, которых не останавливают на пути никакие препятствия, и несчастные бьются с этими препятствиями, пока хватит силы, пока не засохнут они, измученные и истощенные донельзя.

Все искушение афонские делятся самими монахами на два разряда: брань мысленную и брань плотскую. К первому роду брани относятся разные сомнение в догматах и правилах веры, недостаток смирение и послушания, и разные видение (галлюцинации), какие воздвигает искуситель на отшельника: ко второму – недовольство пицей, изнеженность тела, разные прихоти мирские, и, наконец, невозможность забыть монаху о существовании женщин на белом свете. С первым родом искушений мы отчасти уже знакомы из предъидущих глав, и притом будем встре-

чатся с ними ниже, – а теперь взглянем на те трудности, с какими монах силится достигнуть полного целомудрия.

Отрицаясь от мира и от брака, как главной связи с миром и его попечениями, и давая клятву хранить своё целомудрие до гробовой доски, монах устремляет все свои силы на то, чтобы задавить в себе естественные побуждение и уничтожить в голове своей самую мысль о женщине, как о чем-то страшном, демонском. Эта брань едва ли не самая трудная на Афоне и ею-то по преимуществу старается искуситель сбить монаха с пути истинного, потому, вероятно, что такой метод легче остальных и чаще всего удается. Но зато если кто из монахов сможет побороть и эти искушения, тот считается совершенным монахом, идеалом подвижничества, для которого уже не страшны никакие искушения.

«В мирских монастырях спастись труднее, чем здесь, – говорят афонские старцы; – потому что там монахи имеют постоянное сношение с мирянами, все мирские соблазны у них на виду, женщины ходят к ним молиться, и монах легко может впасть в искушение, зато

у нас на Афоне нет ничего, что бы могло соблазнить монаха: у нас нет женщин.» Действительно с Афона удалены все предметы плотского соблазна; монахи искренно верят в целомудрие своей земли и это наружное целомудрие привлекает сюда из мирских монастырей многих отшельников.

На Афоне нет женщин. Ни одна из них не имеет права вступить на девственные берега монашеского царства, а если и осмелится, то её без милосердие выгонят монахи обратно. По вере монашеской, женщине, нарушившей святость этого закона, немедленно отмстит за это сила Божия. Она или умрет на месте преступления, или потонет на обратном пути с Афона

Закон о нетерпимости женщины простирается на всю гору афонскую, так что даже сам Ага турецкий и его прислуга, живущие постоянно в Карее [15], не смеют жить с жёнами и свои гаремы держат в городе Ериссо, близ Афона. Этот закон простирается даже на животных, принужденных жить с монахами: они тоже разлучены со своими самками, тоже соблюдают строгое целомудрие. Вы не

встретите здесь ни овцы, ни ослицы, ни кошки, ни курицы, чтобы и эти представительницы прекрасного пола не могли напоминать монаху о женщине. Святогорец написал даже, что «по поверью простого народа, самые пташки не вьют здесь гнезд и не выводят птенцов, но одиноко, как и монахи, растоскывают жизнь свою, временно только оставляя Афон и улетаю в далёкие заморские гнездышки [16].» Это, конечно, хвачено чересчур широко, и на Афоне множество птичьих гнезд, но в народе действительно есть старинное поверье, что ни одна самка не может жить здесь, и даже сам пресловутый пешеходец наш, Барский, обошедший в 1745 году все святыни афонские, описывает, как он, встретив здесь неожиданно диких коз, принял их за духов нечистых, веря, что коза, даже дикая, не может существовать на Афоне. Мне самому приходилось слышать, как досадовали некоторые монахи, что на неприступных твердынях горы всё ещё водятся дикие козы и кабаны с самками, и попадаясь иногда на встречу отшельникам, тем вредят их спасению... Только крысы одни, да насекомые мо-

гут беспрепятственно плодиться на Афоне: им никто не мешает.

Мальчиков запрещено приводить на св. гору. В некоторых штатных монастырях опытные старцы берут к себе мальчиков-сирот для воспитания, но это допускается в виде исключения, как дело, имеющее благотворительную цель. Спросят, может быть, к чему такая строгость? А потому, что мальчики по милости и свежести лица напоминают монаху о женщине, и таким образом ведут его к искушению. Впрочем, это правило преимущественно касается только общежительных монастырей и некоторых высококонравственных затворников.

Юноша, принявший пострижение в общежительном монастыре, по уставу не может оставаться с братиею, если не имеет бороды и усов. Его обыкновенно посылают куда-нибудь в отдельную келью, и там он остается до тех пор, пока не обрастет бородою.

Но это ещё не все. Чтобы удалить всякую возможность греховных помыслов и устранить все, что может соблазнить зрение, – монаху строго воспрещено видеть своё собствен-

ное обнаженное тело. Поэтому-то на Афоне нет ни одной бани, монах не имеет права даже купаться в море и никогда не переменяет белья своего, а если и переменяет, то ночью, впотьмах и как можно реже, чтобы и тут грехом не увидеть наготы своей. Этот закон обязателен для всего Афона и даже для приходящих поклонников. Поклонникам в кельях позволено раздеваться как им угодно, но перед монахами нельзя, и потому, если им придет охота купаться, то они для этого выбирают самое безлюдное побережье моря, подальше от монастырей и больших дорог, боясь, чтобы их не заметил ни один монашеский глаз. При мне приехал на Афон один сиятельный поклонник, уже старик, который имел обыкновение каждое утро обливаться холодной водою. Ему сказали, что этого обливанья здесь делать нельзя; старик, конечно, заупрямился, и монахи должны были разрешить ему исполнение этого обряда в комнате. И каждое утро комната заливалась водою, хлопоты чрез это увеличились втрое, но зато никто из монахов не видал сиятельной наготы, кроме прислужника, вполне застрахованного

от искушений.

Иконы мучениц и преподобных матерей пишутся на Афоне в строгом иконописном стиле, так что глаз не может остановиться на такой иконе и отыскать в ней что-нибудь мирское, житейское. Но случается, что наши благочестивые жертвователи присылают из России на Афон иконы современного, художественного стиля, такие иконы, на которые слишком можно залюбоваться. Монахи, получив эти жертвы, не знают, что делать с ними, и большею частью кончают тем, что просят доморожденных иконописцев переправить их на афонский манер – «что бы глазам было не зазорно». Такая икона, по афонскому опыту, очень развлекает молящегося, услаждает его чувства и даже может навести на грешные мысли. При мне прислали в один из русских скитов на Афоне несколько икон академической работы, где между прочим, была изображена Богоматерь красоты необыкновенной, в роскошной одежде и с полуобнаженной грудью. Собрались старцы скитские к этим иконам. Некоторые из них только взглянули да сейчас и поспешили уйти, осеняясь крестным

знамением; остальные долго толковали, чтобы сделать с таким соблазном, и решили оставить пока иконы в церкви, только лицом не к народу, а к стене. Год спустя я видел их всё в том же положении, в углу. Вероятно, они и теперь ещё стоят так, к горю и посрамлению наших жертвователей, а может быть их давно уже стащили в библиотеку скитскую, под вечные затворы, чтобы и духу-то их не было...

Некоторые келиоты [17], вероятно знатоки искусства, скупают подобные иконы и часто по долгу заглядываются на них. Но и там эти иконы постоянно завешаны разным тряпьем, или рясами монашескими, чтобы их не могли видеть посторонние иноки.

Вот такая строгая обстановка окружает монаха афонского, какими крепкими стенами ограждена его целомудренная нравственность от соблазна! Казалось бы, что при таких условиях спастись легко; чем же ещё искушаться? Всякая возможность греха плотского устранена, и монаху открыта широкая дорога прямо в царство небесное... Так кажется с первого взгляда, но не то выходит на самом

деле. Здесь устранены все видимые предметы соблазна, но в полной зависимости от воли монашеской осталась его мысль и воображение, и этих соблазнов не в силах заковать и уничтожить никакой устав.

Самая строгость устава афонского по этому предмету показывает, до какой степени может быть щекотливо воображение, которому не дают простора и свободы. Ведь не сразу же сложился такой устав: вероятно постепенно приходилось вырывать из обстановки окружающей монаха то одни, то другие предметы, напоминающие ему о жизни природы; пришлось и зверей лишить их самок, и всё таки тысячи искушений остались вне силы устава, и от них может спастись монах только силою собственной воли. Некоторые отшельники уже сами сознаются, что чем строже устав, тем больше греха; и чем старательнее устраняет видимые поводы к соблазну, тем сильнее возникает он уже из глубины природы человеческой, — тем более, что в пустыне фантазия слишком чутка, и довольно малейшего ослабление воли, чтобы привести ее в движение.

Отсутствие женщин тяжелым гнетом ложится на весь быт афонских отшельников, отражается на всей их деятельности, томит их совесть, ожесточает на самих себя и на весь мир. Женщина для монаха – самое неотступное и навязчивое виденье. Мысль о женщине носится, кажется, в самом воздухе, окружающем отшельника, о ней напоминает самая природа, каждый луч весеннего солнца, каждый свист перелетной пташки... Мечется и молится монах, читает разные заклинанья, но нет ему облегченья, и вот он силится притупить свою фантазию, изнуряет себя постами и работами, спит на битых камнях или колючих растениях, чтобы этими болями отучить свою плоть от запрещенных потребностей, но непокорная плоть не унимается. Измученный, изнуренный, он старается очернить образ женщины в своем воображении, воспоминает её непривлекательные стороны, бранит и проклинаяет её страшными проклятиями. В своих видениях женщины монах видит факт неестественный; он верит, что эту брань воздвигает на него сила демонская, чтобы лишить его загробного счастья, – и вот

в понятиях его женщина является орудием дьявола, источником зла на земле... Словом, нигде не приходилось мне слышать столько проклятий женщинам как на Афоне, среди тамошних отшельников.

– Не легко и в пустыне сохранить целомудрие! говорил мне монах, сосед мой, в минуту откровенности. – Тело у многих остается в чистоте, но за то является распутство мыслей, а это распутство сушит человека ещё быстрее, чем разврат мирской... Ведь вы не можете себе представить тех мук, какие воздвигает на нас дьявол видением блудным. Иной раз фантазия до того разыграется, что не уймешь её ни крестом, ни молитвой. Демон рисует целый ряд картин одна другой соблазнительнее, припоминаются все мирские связи с женщинами и не как укор совести, а как завлекательное что-то, – дух услаждается этими картинками. Днем ходишь сам не свой, ночью те же видения, молиться станешь, так и во время молитвы и в церкви даже не отстают лукавый. Поверьте, иногда до того искушаешься, что если брат войдет в келью, то и он представляется в наготе своей, в походке и движе-

ниях всей братии видится только одна плоть и похотенье... Отвратительно станет наконец, не знаешь куда деваться от этих видений, голова кружится, ум тупеет, ничего делать не хочется, а совесть вопиет пуще прежнего, просишь смерти у Бога, и в то же время страшно умереть в такое время, – словом это какое-то безумное состояние, начало адской казни за грехи плотские... И так иной раз бьешься по целым неделям, пока наконец Господь не пошлет облегчения. Одно утешает в подобных случаях, воспоминаешь: что все отцы святые терпели такие муки да спаслись же. Прочтите любое жизнеописание древних подвижников, и вы сами увидите, что большая часть их подвигов уходила на борьбу с плотью, а между тем святыми вышли...

– Чем же отделаться можно от таких искушений? спрашивал я.

– Одним только терпением. Они временем появляются, а потом и пропадают сами. Свыше сил Господь не даёт искушений.

Греки и вообще южные жители, по страстности своей натуры, особенно боятся подобных искушений, потому что для них эти иску-

шение слишком тяжелы. Тоже можно сказать про русских бар в рясах и вообще особ романтического свойства, привыкших смотреть на женщину, как на лакомство. Эти люди, по их собственному признанию, при малейшем воспоминании о женщине, при одном даже имени женском, произнесенном случайно, или прочитанном в книге, чувствуют уже нервное потрясение и искушаются. Их, таким образом, самое имя женщины вводит в грех и мучит щекотливую совесть. Конечно, к такой чуткости совести приучают монаха, прежде всего строгие толки духовников о вечном внимании к самому себе и борьбе с силой демонской, затем – чтение о подвигах древних отшельников и желание подражать им, и наконец, самая строгость монастырских уставов. В общежительных монастырях строгость уставов доведена до того, что даже сны монашеские вменяются в вину монаху и в них он должен каяться духовнику. Если какой-нибудь соблазнительный сон приснится монаху в ночь перед причастием [18], то его лишают причастие как недостойного, точно он волен во снах своих. Поэтому монахи, в ночь перед

причастием, боятся даже на минуту закрыть глаза, тем более, что по их словам, враг особенно силен в эту ночь. Такое правило всею тяжестью ложится на чередных иеромонахов, которым, во избежание сонного соблазна, приходится просиживать без сна по несколько ночей сряду. После этого не удивительно, что некоторые из них до того простирают своё целомудрие, что не поминают женщин даже за проскомидией и во время служб церковных, хотя им за это платятся деньги [19].

Всех счастливее в этом отношении русские простолюдины, которые и на Афоне могут со спокойною совестью толковать о бабах и посмеиваться над их проделками. Наши простолюдины и в мире с бабой запанибрата, у них нет той романтичности воспитания и тех утонченных, пикантных отношений к женщине, какие существуют в так называемых образованных кружках, — их отношение прямее и проще, а потому и воспоминание о женщине меньше вредит спасению их на Афоне.

Вот безотрадная картина плотской брани, которую должен преодолеть монах, строго исполняющий долг свой. Не всякий, конечно,

сможет успешно пройти по такой дороге, и большинство, услаждаясь сладострастными виденьями, по слабости натуры, впадает в грех блудный... Духовники вооружаются против таких слабостей сильными и грозными наставлениями и изнуряют падших епитимиями, но эти епитимии тоже не всегда действуют. Некоторые, особенно молодые монахи, истощив все силы в борьбе с плотью, наконец, впадают в полное отчаянье: терпение пропадает, советы духовников теряют свою силу, на братию смотреть становится тяжело, и тут-то конечно во всей своей силе является страшное на Афоне искушение бегства. Тут уже вопрос жизни и смерти: быть или не быть в раю?... Кто насквозь пропитан воздухом Афонским, тот спохватится, и с ужасом отгоняя мысль о бегстве, просит запереть себя куда-нибудь, и принимается с большим рвением изнурять себя; но другой, более слабый, не выдержит соблазна – и махнет рукой на все подвиги. Грешный, но милый сердцу мир, представится ему во всей заманчивой прелести, жажда жизни пробьется наружу и, после долгого колебания, он объявляет старцам, что

желает покинуть пустыни афонские. Старцы не сразу выпустят его, и несчастный должен ещё выслушать длинный ряд проповедей и угроз, имеющих притязание затронуть его совесть; старцы пугают его проклятием неба и страхом суда Божия, предсказывают вечные болезни и несчастия, делают заклинание над нечистым духом, засевшим в душу монашескую, но видя, что ничто не действует, выдают монаху паспорт и тот бежит, напутствуемый всеобщими сожалениями и проклятиями. Такой беглец, особенно если он схимник, считается на Афоне добычею дьявола, — за него и молиться не всякий решится. Замечательно, что эти беглецы лишь только вырвутся из-под устава афонского, сейчас же бросаются во вся тяжкая, точно стараясь вознаградить себя за долгий пост; иной до того раскутится, что и рясу по боку махнет, — а демон, конечно, торжествует. При мне бежали три монаха. Один из них, как слышно, совсем спился и угодил даже в острог, другой женился, а третий вернулся было на Афон, думая примириться с пустыней, но, пожив немного здесь, убежал снова и уже не возвращался.

Искушение афонские, по части женского пола, особенно усилились с тех пор, как к берегам св. горы стали приставать пароходы [20]. Ещё в то время, когда впервые пронесся слух, что на Афон будут ездить пароходы, монахи пришли в ужас и стали не на шутку опасаться за нарушение девственности горы. Опасение их сбылись. Дело в том, что на пароходах вместе с поклонниками подъезжают к Афону женщины, и хотя их не выпускают на берег, но все-таки они слишком близки к этому берегу и из монастыря можно их видеть. Толпы наших хожалок, отправляющихся в Иерусалим солунским путём, никак не могут взять в толк, что их боятся монахи и всячески выражают желание поклониться местной святыне. «Батюшки! голубчики! – кричат они во всю мочь, столпившись на пароходной палубе, – дайте хоть землицы-то афонской на память! Пришлите чёточек, родные!...» и т. п. Монахи прислушиваются к этим крикам и не знают куда деваться от искушений... Иной

раз бабы долго стоят в виду монастыря, молятся, приходят в умиление и наконец затягивают визгливыми голосами: «под твою милость,» или: «о! всепетая мати!» – И зазвучит визг бабий над пустынными холмами Афона, самый воздух отравляется искушением и в страхе молятся отшельники, убегая в глубь своих келий...

Кроме этих случаев, нарушающих тишину пустынного Афона, бывают ещё другие, исключительные случаи, которые не легко обходятся местной братии. Мне особенно памятен один такой случай, да и на Афоне, я думаю, ещё многие помнят его. С парохода, вместе с прочими поклонниками, сошла на берег Руссика и жена капитана пароходного, женщина молодая и красивая. Одета очень эффектно и окруженная толпою офицеров, она весело подошла к монастырским воротам. Ужаснулись монахи, увидев эту гостью; столпившись у ворот и пропустив несколько поклонников, они с угрозами захлопнули эти ворота перед самым носом красавицы. Муж её, конечно, рассердился, обещал жаловаться, но ему сказали, что устав афонский известен

всему свету, что даже турки подчиняются ему, и капитан должен был притихнуть. Дама тоже обиделась таким невежливым приёмом и, назло монахам, решила прогуляться по берегам Руссика. Под руку с каким-то франтом, она обошла кругом всего монастыря, освежилась афонскою водою, нарвала цветов и потом села отдыхать против ворот монастырских, лорнируя встречных монахов.

«Искушение! искушение!...» пронеслось из конца в конец по монастырю; отшельники взволновались; волнение и ожесточение было так велико, что многие взялись за камни и начальству стоило не мало труда успокоить и разогнать братию. Дама, вероятно, слышала весь этот шум, но не сошла с места, и, дождавшись своей компании, так же спокойно удалилась на пароход. Пароход уехал, но тем дело не кончилось. Демон соблазна совершенно овладел отшельниками, между ними появились раздоры, и некоторые после этого совсем не могли ужиться на Руссике и удалились в пустыню. Оставшиеся долго испытывали все муки плотской брани, которой не могли побороть ни крестом, ни молитвой...

Весть об этом происшествии быстро разнеслась по монастырям, скитам и кельям горы и весь Афон счел себя оскорблённым в лице Руссика. Все решили, что это дело не пройдет даром, что если Бог попустил женщине осквернить своим посещением гору, то это вследствие грехов монашеских, и потому ждали новой кары. Кара не замедлила явиться. Вскоре после этого случая, на Афоне, было сильное землетрясение, от которого более всех пострадал монастырь русский. Тогда все единогласно проговорили, что это гнев Божий карает Руссик за то, что он, из видов корыстолюбивых, приютил у себя мирские пароходы. Окончательно монахи успокоились только тогда, когда Бог послал проливной дождь и таким образом смыл пятно бесчестья с целомудренного Афона, уничтожив самые следы женщины, осквернившей святыню.

Знает ли эта особа, сколько тяжелого горя и слёз доставила она бедным отшельникам своим посещением Афона? Знает ли она, сколько ругани и искренних проклятий пало на её безвинную голову? Если не знает, так пусть лучше и не знает...

Другой случай подобного рода был примене у монастыря Дионисиатскаго. Недалеко от этого монастыря пристал английский пароход, и какой-то лорд со своею супругою вздумали при этом прогуляться по берегу. Монахи, давно следившие за движениями парохода, встретили непрошенных гостей с камнями и дубинами в руках и едва не поколотили их. После такого недружелюбного приема лорд и леди поспешили скорее убраться, а в монастыре по этому случаю пели благодарственный молебен за скорое изгнание женщины. К общей радости монахов через несколько дней на Афон пришла весть, что этот пароход где-то разбился и леди по всем вероятностям потонула. Тут монахи ясно увидели перст Божий.

Наконец третий случай был в пристани Дафны. В этой пристани однажды ночью взорвало судно с грузом пороха и взрыв был так силен, что от 16-ти человек, ночевавших на судне, на другой день нашли в разных местах только две руки и ногу. По какому-то странному случаю от этого взрыва уцелела одна десятилетняя девочка, которую выбросило жи-

вую, хотя и раненную, близь монастыря Ксиропотамскаго. Монахи, конечно, узнали об этом происшествии и увидели в нём новое ухищрение демонское. После долгого совещания, они выбрали одного престарелого монаха и поручили ему вылечить девочку. Не знаю, чем лечил ее монах, только девочка в тот же день умерла. Труп ее сбыли на проходящее мирское судно, и самая память о ней сохранилась, может быть на несколько дней только в воображении искушающихся. А между тем она единственная женщина, которой пришлось умереть в царстве монашеском, на строго целомудренном Афоне.

Подобные происшествие резко пробуждают страсти афонские и ясно знакомят нас с тем жестоким воззрением на женщину, какое имеют местные монахи. В остальное время Афон сохраняет наружное спокойствие и тишину; борьба с плотью проходит внутренним путем, втайне, и редкий подметит те боли и скорби, с какою течет пустынная жизнь отшельника. Было бы несправедливо винить монахов за ожесточение и неприветливость к женщинам. Оно естественно. К этому побуж-

дает монаха простое чувство самосохранения: он боится за самого себя и за своё загробное счастье, боится тех мучительных искушений, какие может возбудить в нем одно воспоминание о женщине и вот он ненавидит ее всей душою, и даже при случае готов повредить ей. Кого же винить в этом? Природу ли? силу ли демонскую, враждебную монашеству, или что другое?... Не знаю, читатель...

V Пустынники

Старцы-келиоты и их ученики. – Порядок семейной жизни. – Каливиты. – Гробничные отшельники. – Скиты и их уставы. – Пещерники. – Странники. – Юродивые.

«Отречение от своей воли – верный путь к Небу! Послушание паче поста и молитвы!» – Так говорят старцы общежительных монастырей в назидание постригающимся, чтобы заставить их отказаться от свободы и подчиниться во всем произволу игуменов и духовников. Большинство русских пришельцев спокойно выслушивает эти речи и довольно легко свыкается с безответностью перед чужой властью. Но для местных жителей такое рабство во имя Христа не легко и не всякий сможет его вынести. Иной постриженец, привыкший к полной самостоятельности в мире, никак не может свыкнуться со строгим формализмом монастырского устава: то пища ему не нравится, то духовник слиш-

ком строг, то келья тесна, и хотелось бы ему спастись, как и остальная братие спасается, да сил не хватает... И вот он поживет несколько времени среди разных искушений, всё-таки усиливаясь приноровиться к общему складу братии, но потом покидает киновию и идет по Афону искать другого места, где бы удобнее было спастись.

Если такой монах имеет деньги, то обойдя всю гору и ознакомившись с уставами разных монастырей, он обыкновенно кончает тем, что нанимает у какой-нибудь обители клочок земли и строит себе на нем отдельную келью, то есть целый дом с приличным помещением в несколько комнат и даже с отдельною церковью, если хватит на это капитала. При келье он разводит огороды, виноградники и другие хозяйские затеи, и таким образом делается афонским помещиком. Имея надобность в рабочих руках, такой помещик-келлиот приглашает с себе на келью нескольких бедняков-монахов, так же как и он недовольных трудностью монастырской жизни, кормит и поит их на свой счет и за это обязывает их отплачивать ему работой. Приглашенные

конечно рады такому приюту, и обе стороны начинают сообща спасаться, вполне довольные друг другом. Надо при этом заметить, что приглашенные, решаясь жить в чужой келье, несколько подчинены воле хозяина и почитают его своим старцем, – хотя бы этот старец по летам был моложе остальной братии, а сами считаются его учениками. Старец имеет право назначать своим ученикам разные работы и послушания, и даже делается их наставником и утешителем в случае разных искушений. Такое подчинение неизбежно на Афоне, где бедняк осужден на вечное послушание. Впрочем, власти старца ученики подчиняются очень охотно, и каждый старается ему угодить и заслужить его расположение, чтобы старец при смерти не обидел наследством. Тут в келейные отношения братии входит уже новый элемент – расчет денежный.

Таких келий на Афоне более восьмисот, и все они находятся в зависимости от тех монастырей, на чьей земле построены. Обыкновенно келья, поступив по смерти первого хозяина в вечную собственность монастыря, потом отдается в наймы на условиях, по кон-

тракту, и за выполнением этих условий строго наблюдают монастырские власти. По истечении срока контракта между монастырем и хозяином кельи происходит новая переторжка, которая часто кончается тем, что прежнего хозяина выгоняют из кельи, а на место его сажают нового, более богатого. Словом тут бывает множество мелких интриг и тяжб, неизбежных при денежных сделках.

Каждый старец держит при себе обыкновенно от трех до пяти учеников, а в некоторых кельях число их доходит до десяти, смотря по тому, какова келья и каков хозяин. Во всех подобных кельях хотя и соблюдаются многие монастырские формальности, но всё-таки в них преобладает оттенок семейного, домовитого склада, видна печать мирского труда и мирских попечений. Утром рано кельиоты собираются в свои домашние церкви [21] где один из братии на скорую руку прочитывает вслух утреню и часы, и затем, с восходом солнца, все расходятся на работу к огородам и виноградникам. Потом обедают все вместе всласть или впроголодь, смотря по капиталам хозяина. После обеда ложатся отдох-

нуть, – понежиться до вечерни, затем опять идут на работу и работают до самого ужина. Ужинают келиоты обыкновенно в шесть часов вечера, после ужина читают повечерие и снова ложатся спать – до утрени. Вот весь день келиотский. По праздникам старец нанимает где-нибудь иеромонаха и вместе с братией слушает обедню, а если церкви нет при келье или денег не хватает, то с вечера все спускаются в ближайший монастырь на всеобщее бдение и там ночуют, чтобы на другой день приобщиться св. таин. Весь склад и строй этих семейств, их пища и одежда зависит, конечно, от образа мыслей и характера старца. Если старец строг и набожен, то и ученики его ходят повеся головы, а если старец оставляет дело спасенья на совесть каждого, то и ученики беззаботны. Во всяком случае, в кельях жизнь течёт гораздо свободнее и строгостей меньше, чем в монастырях. В каждой келье можно найти и вино хорошее и закуску подчас недурную и табак крепкий, можно услышать говор веселый, смех и даже песни иногда; местность при кельях большею частью роскошная, – погулять есть где, и при та-

кой правильности и приволье житья на свежем воздухе, при постоянном труде физическом, – редкий келиот не доживает до глубокой старости. Киновиаты шепчут, что здесь много свободы, а потому больше греха и мирских искушений... Правда, что здесь уже во многом проглядывают грешки мирские, тем более, что здесь замешана необходимость копейки, – но, посудите сами, разве можно прожить на Афоне без искушений?...

Таким образом, в кельях подобного рода находят приют все недовольные стеснительностью монастырских уставов, все те, которым слишком трудно отказаться от своей независимости. Но есть отшельники особого настроенья, которые только потому уходят из монастыря, что там очень много живёт народа и ищут келейной жизни для одной цели спасенья. Считая грехом всякое сношенье с людьми, даже со своими братьями-монахами, они дают обет вечного одиночества, желают иметь своими собеседниками не людей, а одного Бога. Не легко найти приют такому отшельнику; денег он большею частью не имеет, и потому не может нанять себе кельи, и

вот, побродив по св. горе, он или занимает чью-нибудь давно заброшенную келью, или, отыскав уединённый уголок, своими собственными руками строит себе домик. Конечно, подобные домики до того малы, что в них «двоим за нужду влезть, и то ни встать, ни сесть,» но пустынный и не заботится о просторе: было бы только место, где укрыться от непогоды, а простору для него и на свежем воздухе довольно.

Раз, прогуливаясь по холмам афонским, я наткнулся на такого труженика. В глуши, под крутым навесом горы, он один одинёшенек вмазывал камни в стену своей келейки. Подле него в ямке разведена была глина; тут же валялась лопата, лом, топор и несколько срубленных бревен, – больше ничего не было. Келья уже подходила под кровлю. Пожелав монаху Бога в помочь, я спросил давно ли он работает?

– Третий месяц пошел, – ответил тот; – к зиме кончу.

– И всё один?

– Бог со мной. Приходит ещё иной раз брат со скита; – помогает камни ломать в горе. А то

кто ж еще? у каждого своя работа.

– Откуда же камни берёте?

– Да вот тут, рядом. Там же пока и дача моя.

Он показал мне на большую выбоину в скале в нескольких шагах от кельи. Вырубая камень, он устроил себе пещёрку и тут пока живёт в ней, дожидаясь кельи. Подивился я такой настойчивости труда и отправился дальше, а монах снова принялся вмазывать камни.

Иногда пустынный долго не имеет постоянного пристанища и всё это время копит деньги, выручая их разными работами по найму. Накопив достаточную сумму, он скупает себе келью по вкусу, заключает с ближайшим монастырем условие о продовольствии, и потом уединяется иной раз на всю жизнь, только разве по праздникам спускаясь в монастырь приобщиться и взять продовольствия. Имущества у него никакого нет, и потому он никогда не запирает своей кельи, а чтобы избавиться от постороннего любопытства, он, собираясь в путь, ставит у дверей кельи большой деревянный крест и идёт спо-

койно, в полной уверенности, что ни один монах не осмелится снять этого креста с дверей [22]. А бесы, как известно, креста боятся и потому тоже не заглянут к нему.

– Раза два или три в год келиот одиночник позволяет себе отдохнуть и повеселиться. Это бывает в храмовые праздники ближайшего монастыря, где он угощается и гуляет вволю, и ещё в прощенное воскресенье перед великим постом. В этот день к монастырям собираются все соседние келиоты, кроме, конечно, строгих затворников, и после вечерни, получив благословенные сухари [23], устраивают разные игры, т. е. бросают в цель камни, гоняются друг за другом и т. п. С непривычки страшно видеть, как эти сторбленные и изнеможенные вечным постом старика, кряхтя и охая, силятся как можно далее забросить камень в море, или с криками спорят о первенстве в игре, точно школьники, которым на миг дали свободу. Я думал сперва, что эти детские игры происходят единственно от невинности душ стариковских, но оказалось, что и они имеют здесь свой высокий смысл. Играющие, слыша, как я в шутку называл их детьми, постоянно

отвечали мне словами евангелия: «если не будем как дети, – не войдем в царство небесное.»

Строгостью и угрюмостью затворнической жизни на Афоне замечательны так называемые гробничные старцы. Здесь, как и во многих областях Греции, покойников закапывают в землю только на три года, и по истечении этого срока вынимают из могил их кости, и в опраставшиеся могилы кладут новых покойников, какие найдутся на лицо [24]. Вынутые кости с разными церемониями обмывают и складывают в подвалы кладбищенских церквей, которые называются гробницами или усыпальницами. При каждой усыпальнице на Афоне находится монах, который обязан смотреть за чистотой и порядком в склепах. Такой монах, живя в гробнице, иной раз до глубокой старости возится с костями: то он разложит их в виде поленницы, то разбросает снова, чтобы сложить их на другой манер: над каждой косточкой он многое передумает, каждый новый скелет встречает с радостью, как нового товарища; он и молится и ест в гробнице, даже спит на костях и черепахе че-

ловеческих, изредка только выглядывая из склепа, что-бы подышать чистым воздухом. Немудрено, что он насквозь пропитается мертвечиной и вечно сохраняет мрачное расположение духа. Раз, осматривая какую-то гробницу, я встретился с подобным старцем. Он от дряхлости едва держался на ногах, и сам походил скорее на бродячего скелета, чем на человека.

– Чай здесь удобно спасаться? спросил я его.

– Назидательно! отвечал тот.

– А не страшно?

– Чего же страшно? Свои ведь. Все жду, скоро ли мои кости улягутся здесь, и кто-то на них спать будет!...

– А это что за кости? спросил я, указывая на груды костей отложенных в сторону.

– Это мирские.

– Да как же ты узнал, что они мирские?

– Очень просто. Монашеские всегда чистые и ровные бывают, а мирские с пятнами.

Не знаю, общая ли это примета на Афоне, или гробничный открыл ее по собственным соображениям, – только он говорил с полной

уверенностью.

Многие пустытники считают лишним развлечением – частые путешествие в монастырь, и чтобы избежать этого развлечения, они помещают свои кельи недалеко одна от другой, в виде селенья, а посредине, на особо приготовленной площадке, строят себе соборную церковь, где и совершают по праздникам всеобщее бдение и обедню причастную. В виде распорядителя по хозяйской части пустытники выбирают из среды своей старосту, называемого здесь дикеем, который бы заботился о благочинии служб церковных, о продовольствии и выгодах братии. Дикей – нечто в роде игумена, только его власть более исполнительная, чем законодательная, он ответственное лицо для переговоров с другими властями афонскими, и пред ними отстаивает интересы братии. Такое село с соборною церковью и дикеем называется на Афоне скитом, и таким образом афонские скиты вовсе не походят на наши русские. Жители скита по

целым неделям не видят друг друга, и в полном уединении, в полном затворничестве, оставаясь в кельях, молятся в своих домашних церквах. Жизнь в скитах вполне аскетическая, воздержание особенное, так что только по праздникам разрешается монахам вино и масло, а в остальные дни – сухоядение вечное. Трапезы общей в скитах не бывает и каждый затворник сам заботится о своей пище, поэтому многие до того простирают своё воздержание, что и самый хлеб едят с весу, т. е. в обыкновенные дни съедают, положим, по полуфунту в день с кружкой воды, а в постные дни по четверти фунта с полкружкой воды, чтобы и в пище не изменить правильности и порядка спасения. Гостей не жалуют скитяне, и чтобы меньше шлялось к ним праздного народу, они строят свои скиты на неприступных местностях и с такими путями сообщения, по каким не всякий пройти решится. Всех скитов на Афоне двенадцать, в числе которых есть два русские: св. Ильи и Серайский [25], и все они, как и обыкновенные кельи, находятся в зависимости от того монастыря, на чьей земле построены, и пла-

тят ему дань.

Пустынники, отказавшиеся от сношение с людьми, отказавшиеся даже от скитской жизни, обыкновенно живут в одиночку. Некоторые из них строят свои кельи среди красивой, заманчивой местности, чтобы можно было иногда развлечься хотя природой, но другие и этого развлечения боятся, и нарочно помещаются, в таких глухих трущобах, где даже и взглянуть не на что. Есть кельи, помещённые с изумительным самоотвержением на страшных крутизнах и обрывах, на которые можно взобраться только с помощью веревочных лестниц, с опасностью разбить себе голову. Кто был на Афоне, тот вероятно никогда не забудет неприступности келий Керасии и Карули [26] (прославленных разными чудесами), местоположению которых вся гора дивится.

Многие бедняки затворники живут просто в пещерах, ямах и скважинах скал, и только в случае холодной зимы ищут приюта в соседних кельях.

Устранив от себя все развлечения и обезопасив своё помещение от незваных гостей,

затворник денно и ночью предаётся делу спасенья. Тут уже силою собственной воли, со стоической твердостью он предпринимает все, что может изнурить и обессилить его неповинную плоть. Ест он на столько, чтобы не умереть с голоду, спит на битых и острых камнях, молится и плачет бедный. Я не видал, чтобы эти отшельники носили вериги или власяницы, но видал как они в видах изнурение плоти, камни таскают. Спустится затворник к морю, наберет в мешок песку или камне-ньев и с этою ношею тащится по крутизнам в гору до тех пор, пока не обессилеет и не свалится. Отдохнув несколько минут, он идёт дальше, до самой кельи. Такая работа предпринимается после долгих неотвязчивых искушений, на страх демонам, и опытные монахи говорят, что это средство самое действительное: после двух трех таких путешествий – всякое искушение пропадает.

Пища затворника состоит из вареных и сырых растений. Едят они винные ягоды, картофель и хлеб, а больше бобы да горох, и вообще тяжелую пищу, чтобы казаться сытнее. Эту пищу приносят им монахи по условию.

Некоторые новички, приучая себя к воздержанию, туго затягиваются ремнями или носят широкий пояс, который плотно обтягивает желудок и, по-видимому, уменьшает аппетит [27]. Чем же наконец, поддерживается бедная жизнь затворника? Какими соками питается мозг его? – Не знаю! Спрашивал я об этом самих монахов, но мне отвечали, что этой тайны мирскому человеку понять невозможно; что чем больше изнуряется плоть, тем чище становится душа, постепенно отвлекаясь от всего земного. Голова от поста становится легче, а потому монах и искушается меньше. И много в этом роде говорили мне монахи, но к несчастью всего не могу припомнить.

Не смотря на такое изнурение, искушений у пустытника все-таки бывает очень много, только эти искушение особого рода. Тут главную роль играют разные видения, которые демон рисует затворнику, пользуясь его уединением. Отказавшись от людей и от потребности живого слова, среди вечного молчание и тишины, затворник очень естественно предается разным размышлениям. Голова его ра-

ботает напряженно, фантазии рисует разные диковинки. В это время, по признанию самих монахов, ему ясно вспоминаются все мирские рассказы о разных привидениях, все мифические предание народные, весь мир глубокого суеверия, – и всё это в лицах проходит пред ним, представляется так живо и неотразимо, что на монаха нападает страх, и ожидание всяких чудес начинает мучить его. Нервы создателя до такой степени настраиваются ко всему чудесному и небывалому, и так делаются чутки, что часто обыкновенное явление природы: шорох листьев, паденье камня или быстрое дуновение ветра приводит в ужас отшельника и заставляет его читать заклинания. Если он не понял настоящей причины шума, то непременно объясняет её силою неестественною, и потом говорит о ней, как о чуде.

Грамотные отшельники, для большего изучения житие пустынного, часто занимаются чтением четырёх-миней и разных жизнеописаний древних подвижников, в жизни которых, как известно, было очень много чудесного. Стараясь подражать их подвигам, они с на-

пряженным вниманием ждут тех же чудес и искушений, какие случались в глубокой древности, – искушение конечно, являются и чудеса воочию совершаются...

Какой-то затворник рассказывал мне об одном чуде и я передаю рассказ его, чтобы познакомить читателей с теми видениями, какие часто монахи видят на Афоне.

«Было много у меня разных видений: то вдруг женщина явится в воздухе и пропадает, то всякие страшилища кажутся, то вдруг слышится голос чей то, всё это истомило меня, и я просил у Господа помощи. Недавно Господь умиротворил меня молитвою. Я молился целый день, не сходя с места, перед иконой Богородицы, молился так, как редко молюсь... Под вечер, оканчивая молитву и напругая последние силы, я заметил вдруг, что на иконе свет появился, такой свет, что даже ликом не стало видно за светом. Голова у меня закружилась, шатаясь, выбежал я из кельи, а там куда ни взгляну, везде вижу отблеск того божественного света. Закрыв глаза, а перед глазами радужные круги пошли... потом слышал шум какой то в воздухе и ко-

гда открыл глаза, уже ничего не было: по-прежнему тьма кромешная. Чудо ли это было, или дьявольское наваждение, – не знаю. В попыхах позабыл во время виденья крест на себя наложить...»

Другой рассказал мне, как во время долгой и сосредоточенной молитвы, лик иконы ему представился живым, и молящемуся показалось, что икона мигнула. Третьего демон ночью душил, и монах успел явственно разглядеть его безобразную фигуру, о которой он долго рассказывал братии. К четвертому как-то петухи зашли. Он сначала так и принял их за петухов, но размыслив хорошенько, он убедился, что это не петухи, а ангелы, принявшие вид петушиный [28]. И много видений подобного рода видят затворники афонские, и эти виденья очень естественны при мрачной обстановке, окружающей затворника, и при его настроенности ко всему чудесному. Что касается до чудес, выходящих из круга обыкновенных явлений, то таких на Афоне при мне не случилось и все чудеса, описанные у Святогорца, происходили, вероятно, в одно время с теми чудесами, о которых по-

вествуют наши четьи-менеи и другие священные книги.

В таком-то вечно тревожном, болезненном состоянии долго томится затворник, пока, наконец, не свыкнется с ним, или не сбежит куданибудь, Но если в течение нескольких десятков лет монах сживется со своим уединением и даже полюбит его, тогда его уже меньше одолевают мирские помыслы, и он понемногу приобретает то бесстрастие, к которому, как к венцу монашества, стремится каждый затворник. Хладнокровно он переносит тогда все неудачи и лишения; его ничто ни удивит, не обрадует, не вызовет сожаленья; ни одно чувство не прорвется сквозь этот блаженный застой, который он так долго выработывал. Если такого монаха поставить под дерево и пилить это дерево, он не сойдет с места; при виде падающего камня он не свернет с дороги; он верит, что этот камень без воли Божией не убьет его, и потому не станет мешать этой воле.

Бесстрастие отшельников особенно резко проявилось при мне во время сильного землетрясения, бывшего на Афоне 10 августа

1859 г. Я был тогда в Хиландарском монастыре, и при первом треске и колебании зданий в ужасе бросился бежать куда глаза глядят. Встречные монахи с недоумением глядели на моё бегство.

– Куда вы? – спрашивали они меня.

– Как, куда? Землетрясение! потолки упасть могут...

– Не упадут. На что же у нас владычица то в церкви стоит! Её дело спасать.

И ни один монах не тронулся с места, тогда как при малейшем ударе землетрясение у обыкновенных людей ноги бегут сами собою, и нет сил удержаться.

Скит св. Анны расположен на небольших каменных уступах под навесом главной вершины Афона. Во время землетрясение с этой вершины посыпались громадные осколки камня и, перелетая через скит, с грохотом падали в море. Если бы один такой камень задел по скиту, он бы разбил его в дребезги; весь скит был засыпан мелким щебнем. А из монахов ни один не вышел из скита. Все труженики спасенья, не торопясь, собрались в соборную церковь и ждали смерти, говорят,

так же спокойно, как мы ожидаем сна.

Нам мирянам, слишком привязанным к жизни, непонятно такое самоотвержение. Молодые монахи, ещё не отвыкшие от мира, сами дивятся этой холодности к жизни и стараются достигнуть ее путем долгой постепенности. Интересно было бы знать, что думают эти затворники об остальном люде, и каковы их воззрение на мир и жизнь земную?... Я видел одного старца, который семдесят лет спасается на Афоне и из этих 70 лет около 40 лет прожил затворником где то в уединенной келье. Мне показывали его как предмет всеобщего уважения. Вглядываясь в его пожелтевшую и обмертвевшую фигуру и в его безжизненные, гнойные глаза, я только дивился, каким образом этот человек при таких подвигах мог прожить так долго? Старик до глубокой старости владел даром слёз, то есть всё ещё оплакивал прошлые грехи свои, за которые ему до сих пор Бог не даёт смерти. Жалко было видеть эти стариковские слёзы и эту мучительную жажду смерти, которой давно уже требует его измозженное подвигами тело...

Есть ещё на Афоне особый разряд отшель-

ников, которые не имеют никакого постоянного убежища, и всю жизнь прогуливаются из монастыря в монастырь, с кельи на келью. Такой странник вечно движется по Афону с котомкой за плечами; где удастся переночует, а то где-нибудь развесит свою ряску, в виде шалаша, чтобы солнце не пекло, и проводит несколько дней в уединенной молитве. Иногда он наймется в работу, но работа у него с непривычки не клеится; его, конечно, выгоняют и пойдет он опять со своей котомкой, куда глаза глядят. Денег понадобится страннику – он идет к монастырским воротам, где от привратника получает милостыню, хлеба захочет, – спросит в любой келье: дадут – ладно, не дадут – идет к источнику св. Афанасия, а там прохожие всегда оставляют хлеб для проголодавшихся. И так бродит он до глубокой старости, пока смерть ему ноги не подкошит. Спасенья ли ради предпринимаются эти подвиги, или только по неохоте к труду? – разужать не мог я.

Юродивых и кликуш на Афоне не видно, вероятно потому, что там некого дивить подобными выходками. Есть только один сано-

витый монах, который почему-то любит петухом петь. Соберутся к нему гости и просят умильно: «Отец Иосиф! пропой, голубчик, петушком!» – И вот о. Иосиф тотчас размахнет рукавами рясы, будто крыльями, и громко, голосисто, трижды прокричит: кукареку!!!... Так он и известен всему Афону под именем «Петушка». Старцы говорят, что он юродствует; но мне кажется, что о. Иосиф поёт петухом по простоте своей, не имея при этом никаких возвышенных целей.

VI ОБРАЗЦЫ МЕСТНОГО ПОДВИЖНИЧЕСТВА.

Старцы-пустынники: Сисой и Ан- фим.

Дело было в воскресенье, следовательно, был праздник; а праздник на Афоне тем только и отличается от будней, что всю ночь монахи молятся, а днём спят. Молча сидел я в своей уединенной комнатке, не зная куда деться от скуки. Меня тоже начали одолевать искушение монашеские: взгрустнулось по родине, захотелось общества, жизни, свободы... Делать ничего не хочется, перо из рук валится; стал было со скуки читать вслух какой-то акафист – плохо выходит; заглянул в окно, и там нечем развлекаться. За окном всё замерло, нигде ни звука, ни движенья, раскаленный воздух струится точно на пожаре; маслины, лавры и каштаны нагнулись, скорчились, и точно стараются укрыться от жара под собственной тенью, – и всё это облито каким-то огненным оттенком, так что глазам смотреть

больно... Посмотрел немного и опять принял-
ся за акафист. И может быть долго пришлось
бы мне просидеть так, если бы меня не выру-
чил один друг, с которым мы часто прогули-
вались по окрестностям. То был о. Лукиан, мо-
нах из Руссика, сопровождавший нас в путе-
шествии по св. горе, человек разбитной, весе-
лый и знающий все закоулки Афона, как свои
пять пальцев.

– Благословите! сказал он входя.

– Благословляю.

– Что вы тут делаете?

– Да вот хандрю.

– Хандрить грех. Пойдемте-ка лучше гу-
лять куда-нибудь, а то что так сидеть? Вредно.

– А чтож вы не отдыхаете после бдения?

– Признаться, грешен я, искушение: на бде-
нии за кафизмами соснул маленько. После,
как следует, протянул чётки, а всё таки легче
стало как соснул. Что ж? Идете?

– А куда мы пойдем.

– Бог укажет куда. Да вот сходимте-ка к от-
цу Сисою на келью! он из хохлов, но монах
хороший: слишком двадцать лет в пустыне
живёт. Там славная лужайка есть, искуше-

ние! Посидеть можно.

– Пожалуй, пойдёмте!

Запаслись мы кубышкой с водою, вооружились зонтиком и вышли из монастыря. О. Лукиан был проводником и повел меня вдоль монастырских водопроводов, над руслом засохшего потока. Тропинка так крута и так страшно лепится по самому обрыву скалы, что не всякий решился бы пройти по ней. Местами приходилось взбираться, придерживаясь за сучья деревьев, нависших над пропастью.

Наконец выбрались мы на площадку. Там, прижавшись к склону холма, стоит одинокая, полуразрушенная келья с церковью. Она густо обросла дремучим лесом орешника, сверху до низу опуталась ветками плюща и винограда, так что только в двух шагах можно приметить в этой массе зелени жильё монашеское. Лукиан постучал в шаткую дверь, и она отворилась: не заперта была. Мы вошли в грязный и пыльный чулан, заваленный стружками и разным хламом. На первом плане громоздится огромная русская печка; подле неё сломанный табурет; обрубок дерева

вместо стола и на нем разбросано несколько инструментов для резьбы деревянных ложек. На растрескавшейся стене прилажена большая икона, пред которой повешено трое нитяных четок. Из этой комнаты идёт дверь направо в темный покосившийся коридор, который разделяет келью на две ровные половины, и чего-чего нет в этих половинах: тут русская шуба валяется, и ужин, припасенный к вечеру (картофель, сваренный с перцем), сухари, ведра, и т. п. Келья заканчивается крошечною церковью, в которой захожие иеромонахи служат иногда обедню. Длина церкви от порога до иконостаса три шага, высота, вместе с куполом [29], не более сажени, так что кто повыше ростом, тот легко может достать рукою крюк, на котором висит люстра с четырьмя свечами. Иконостас делит церковь на две ровные части, потому что молящихся здесь всегда бывает столько же, сколько и служащих, т. е. один на один. Все пошатнулось, растрескалось, нависло и кажется готово обрушиться при малейшем ударе землетрясения, так что невольно подивишься смелости отца Сисоя, живущего здесь, как видно,

очень спокойно.

Надышавшись вдоволь спертым воздухом кельи, мы вышли из неё. Вокруг тишина мертвая. Перед кельей, на покатиистой площадке, разведён огород и на нём растет тыква и огурцы. За огородом овраг, за оврагом ряд овальных холмов, покрытых лесом, а далее видно море и длинной синевой растянулись по горизонту далекие берега Македонии. Словом, один из тех пустынных, задумчивых видов, каких много на Афоне.

Вот и сам хозяин показался из рощи с кучей валежника на спине, угрюмый, сгорбленный, но ещё не старый. На нем изодранная душегрейка и старенькая ряска; сбоку чётки висят.

– Благослови, отче! – сказал Лукиан, подходя к Сисою.

– Бог благословить, – ответил тот.

– Мы к тебе в гости пришли.

– Пожалуйте! но угощать не буду: нечем.

Сисой отворил дверь в келью, и афонское приличие заставило нас снова войти в ту же грязную комнату. Дверь осталась открытою. Сели мы где попало и долго никто не говорил

ни слова.

– Это твоя келья, отче? – спросил я, чтоб начать беседу.

– Нет, не моя.

– А чья же?

– Божья...

– Да как же ты в чужой келье живешь?

– Да так, живу. Тут уже давно никто из людей не живёт: боятся, – прибавил он, в виде оправдания, оглядывая меня с головы до ног.

– А много лет ты живешь тут?

– Не помню. Не считал.

– Тут должно быть опасно жить, отче! гляди как потолки-то нависли. Случись землетрясение, Так и убьет, пожалуй.

– Землю трясет Бог, а не люди. Его воля...

– А слышал ты, о. Сисой, про наше-то горе? спросил его Лукиан. В прошлое землетрясение наш монастырь так расшатало, что братский корпус еле держится.

– Слава Богу! ответил ему Сисой.

– Чего ж ты радуешься?

– Господь посещает вас, так и радуюсь.

Мы молчали. Лукиан переминался, придумывая как бы заговорить в душеспаситель-

ном тоне: а я глядел в открытую дверь, на красивую местность кельи.

– Славные у вас тут виды какие! – проговорил я – залюбоваться можно.

Сисой холодно оглянул местность и не ответил ничего. Я стал рассматривать угрюмую фигуру отшельника. Сидит он неподвижно и упорно в землю смотрит. Выражение лица сдержанное, холодное, апатичное. Глаза и щеки глубоко ввалились и почернели. В самом спокойствии его проглядывает что-то неестественное, нечеловеческое, видно, что не без труда досталось ему это тяжелое спокойствие... Сидит Сисой как статуя; по клочьям его рубища спокойно разгуливают муравьи и разные другие насекомые, но ему до этого дела нет. Вот огромный лесной червяк вполз к нему на шею и норовит прогуляться по лицу сысойскому. Я поднял прутик и решился помешать ему в этой прогулке. Сисой очнулся и поглядел на меня.

– Чего ты? спросил он.

– Да вот хочу червяка сбросить с тебя. Гляди какой огромный.

– Не тронь, не тронь тварь божию! Пусть

ползёт куда ему надо. Ему, значит, так от Бога указано

– А если укусит?

– Так меня укусит, а не тебя.

Мне опять пришлось замолчать и подивиться спокойствию о. Сисоя «Так погоди же, думаю, расшевелю я тебя!» И недобрая мысль появилась в голове моей.

– А что, отче, если бы вдруг к тебе сюда женщина пришла? – спросил я.

Лукиан вздрогнул от неожиданности подобного вопроса и быстро оборотился ко мне. Сисой сыскоса посмотрел на меня и сейчас же отвернулся.

– Какая женщина? – спросил он, подумав.

– Такая, как и все женщины бывают. Положим, молодая, красивая...

– Да откуда ж она возьметса? Мы женщин обыкновенно крестным знаменем гоняем.

– Не виденье, а настоящая женщина, с плотью и кровью. Пришла бы, положим, как-нибудь из Солуня, и стала именем Божиим просить у тебя совета...

– Охота тебе говорить такие вещи. – Сисой сплюнул.

– Да нет, ты скажи, отче, чтобы ты сделал? Научи меня?

– Я бы тогда взял в пример древних египетских подвижников. Чтобы удержать свою плоть в послушании, я развел бы огонь в жаровне и держал бы в огне свою руку всё время, пока говорил с женщиной. Вот что я сделал бы!...

Я на это ничего не мог сказать. По силе и обдуманности выражение нельзя было сомневаться в искренности этих слов отца Сисоя и в громадной стойкости его характера. Лукиан с торжеством взглянул на меня. Сисой поднялся.

– Простите, отцы! сказал он: – мне время пойти на работу.

И взяв топор, он медленно побрел в рощу, где и скрылся за деревьями [30].

– Зачем вы заговорили о женщине? быстро спросил меня Лукиан.

– А что?

– Да может он искушаться будет.

– Нет, такой не будет искушаться. Зато я узнал теперь силу здешних подвижников.

– Да, сила великая!... и Лукиан задумался.

– Знаете ли, что мы теперь сделаем! – сказал он через несколько минут: – я вечерню протяну уже на чётках, а пока сходимте к отцу Анфиму. Он живёт недалеко отсюда, только в гору лезть придется,

– А у него тоже келья?

– Нет, он зиму и лето спасается в пещере. Вот уж истинно, что подвижник. Вы ещё не видали таких. Он из греков.

– Так что ж, пойдёмте! Заодно уж! – И пошли.

За возвышенностью, на которой стоит келья Сисоя, круто громоздится гора, заросшая каштановым лесом. Верхушка горы голая, дикая, точно кто нарочно навалил туда груды исполинских камней и потом разметал их по скату. Между камнями чернеются широкие скважины и на одну из них указал мне Лукиан, как на жилище Анфима.

Тропинка, промытая дождевыми потоками, лепится утомительно круто, под ногами то и дело скользят да прыгают камни; но с частыми перебежками и отдыхами добрались-таки мы до места. Там, между двух камней, в темном углублении, увидели мы стен-

ку, прикрытую сверху хворостом, а в стенке дверь. Лукиан постучался и прочел молитву, но ответа не было. Думая, что затворника нет дома, он стукнул пошибче, дверь приотворилась и мы увидели Анфима. То был седой, как лунь, старик, одетый в порыжевшее от времени лохмотья. Он стоял к нам спиною, перед иконой, и тянул чётки. В келье темно; свет едва проникал в небольшое отверстие над дверью. Постели никакой не было. У правой стенки мы заметили полку; на полке стоял кувшин и череп человеческий [31]. Мы постояли в дверях несколько минут, но старик даже не оглянулся и так же мерно и спокойно продолжал свою работу.

– Пойдемте! шепнул мне Лукиан: – а то помешаем.

Я вышел не без удовольствия. Тяжело стало на сердце при виде такой обстановки; я в самом деле не видал ещё ничего подобного. Мы сели на камне подле дверей. Местность дикая; вокруг один только голый, раскаленный камень. Отсюда не видно ни моря, ни растительности окрестной, значит подвижник отказался даже от наслаждение видами

природы, – подвиг уважаемый на Афоне. Сзади кельи, в ямке, видны пепел и уголья, где вероятно Анфим готовит себе кушанье; тут же стоит жестяное ведро с водою.

– А могилу-то видите? спросил Лукиан.

– Какую могилу?

– А вон: с боку-то. Сам вырыл. Тут он часто и спит в ней, чтобы вечно быть наготове к смерти...

Я теперь только заметил яму, вырытую подле кельи. В яме было сделано каменное изголовье и над ним воткнут в землю крест деревянный.

– Видно трудно ему жить, коли так о смерти заботится! проговорил я,

– Еще бы! ответил Лукиан. Ведь он говорят, в мире барином жил, научен был всему по книгам, да всё бросил ради царствие небесного, когда Господь призвал его к спасенью. Сперва Анфим в монастыре спасался и всё читал божественные книги, чтобы даскалом (учителем) быть на св. горе. За эту-то гордость Господь его и смирил. Духовник строго запретил ему читать книги, посты даже налагал, да не послушал: вот и стал лукавый смущать его

разными мудрованиями человеческими. Начал отец Анфим раздумывать о таких догматах, каких нашему слабому уму в век не постигнуть, ну, конечно и впал в прелесть бевсовскую. На волосок был от гибели, да Бог не допустил за молитвы братии. Видел он видение какое-то и после того сряду же простился со всеми и ушёл в пустыню. С тех пор вот всё и живёт здесь один одинешенек, даже к монастырю не спускается никогда; а пищу и причащение ему один иеромонах носит, – бывший ученик его.

– А что же книги?

– Все в монастыре оставил. Теперь даже молится по четкам, а в книги и не глядит, потому боится прежних искушений. Долго пере-силивал он эти искушения, а теперь ничего: привык. Говорят, что и читать-то совсем забыл; хоть подавай книгу, – не разберет.

– Значит, давно спасается?

– Давно. Лет сорок слишком будет. Когда я прибыл на св. гору, так он уже в пещере жил; а с той поры двенадцатый год пошёл... Да вот он и сам на лицо.

Лукиан подошел к Анфиму и обычным по-

рядком попросил у него благословения. Анфим не ответил ему, и, не выходя из кельи, пристально оглядывал меня с видимым недоумением.

– Кто это? спросил он по-гречески у Лукиана.

– Кто? Известно раб Божий. Чего спрашиваешь?

Анфим не говоря ни слова сейчас же бросился в ноги.

– Прости меня, отче! Мирян-то я давно не видал, так потемнение напустил лукавый. Прости меня!

– Бог да простит, – ответил Лукиан растерявшись.

Мы уселись на камнях. Анфим не знал что делать с гостями. Он долго торопливо переходил то в келью, то обратно к нам и наконец, принес нам по винной ягоде и по кружке воды. Мы стали угощаться, а хозяин присел к сторонке на камень и бросал робкие взгляды на меня и на Лукиана.

– Ты русский? спросил он меня наконец.

– Русский;

– А! русский, значит православный; а я ду-

мал, что Франк [32]. Что ж, скоро вы будете освобождать Византию? а?

– Не знаю еще, отче.

Мне странно было слышать этот патристический вопрос в такой глуши, и от человека давно проклявшего мир и его радости. Но Анфим был видимо не доволен собой и шептал молитву. Неужели он раскаивался в этом невольном проблеске чувства?... Жалко стало старика.

– Как ты зиму здесь живешь, отче? Ведь холодно?

Анфим посмотрел на меня внимательно, и улыбнулся той снисходительной и вместе строгой улыбкой, какой улыбаются глядя на детей, когда они что-нибудь глупое спросят.

– А холод кто даёт нам? – спросил он в свою очередь.

– Знаю, что Бог, но все-таки, если не побережешься, так захворать и умереть можно.

– Так что же? Все от Бога. Коли слишком трудно сделается, так огонь развести можно; на то и огонь дан, чтобы согреть и питать тела наши по нашей слабости. А смерти бояться нечего: смертью тот же владыка пра-

вит. Мирянин должен бояться смерти, а монах нет. А почему? Потому что мирянин всю жизнь об одном теле заботится, в тело и обращается; а монах в душу живую. Тело умрет и сгниет, а душа нет; вот вы и боитесь смерти, гнить вам не хочется...

– Да ведь без тела не прожить, отче!

– А беречь его тоже не следует. Что наше тело?... Анфим взял щепотку земли, показал ее мне и потом бросил в могилу. – Вот наше тело! В этом вся жизнь мирская...

Старик говорил глухо, отрывисто, будто рассуждал сам с собою.

– Трудно жить здесь, отче! сказал я.

– Да! мирским трудно. Здесь не мир.

– Монаху, кажется, ещё труднее; искушений много.

– А всё легче чем мирскому. Есть ведь и в рясах миряне, это те монахи, которым всё ещё любитя мир. А настоящий монах, как скажет клятву, так и перерождается: принимает второе крещение для жизни новой... Он уже умер для мира. Он труп... Знаешь ты, чего монах отрицается и в чем клятву даёт?

– Знаю.

– Прочитай!

– Наизусть не помню, но слышал, отче, и знаю, что клятва страшная.

– Так слушай же, я прочитаю тебе!... Я каждый день повторяю обет свой.

И Анфим наизусть прочел мне из требника сущность клятв монашеских.

«Я знаю, что с нынешнего дня (со дня постриженья) я распят и умер для мира совершенным отречением от него. Я отказываюсь от родителей, от братьев, от жены, от родственников и друзей; отказываюсь от мирских забот, попечений, стяжаний и славы, и не только от всего этого, но даже отказываюсь от души своей по слову Господа: аще кто хочет по Мне идти, да отвержется себе... Клянусь поститься до последнего издыхание моего! Клянусь сохранить послушание, даже до смерти, к предстоятелю и ко всему братству! Клянусь претерпеть всякую скорбь и тесноту житие монашескаго! Клянусь сохранить себя в детстве, целомудрии и благоговении!... Готовлюсь к воздержанию плоти, к очищению души, к нищете конечной, к плачу благому и всем скорбям и болезням... Буду ал-

кать и жаждать, и нагствовать, и уничтожаться, – нести все тягости скорбных, которые встретятся мне на этом пути ко Господу... Ей! Богу содействующу! Ей! Богу содействующу! Ты свидетель клятв моих!!...»

Анфим поднял глаза к небу и долго шептал последние слова клятвы; потом он опустил голову и стал смотреть на меня пристально, строго. Мне стало неловко от этого взгляда; в нем было что-то тяжелое и в тоже время бесконечно грустное...

– Вот каков монах! сказал Анфим тихо. – Похож ли он на мирского?

– Нет, не похож.

– Не похож?... Да!... А ты не будешь монахом. Только тот спасётся, кто записан в книге животной.

– Что же ты говоришь, отче, так строго? Разве нельзя в мире спастись?

Анфим нахмурился и отвернулся.

– Мир! мир!... – проговорил он глухо: – можно было бы и в мире спастись, кабы женщин в нём не было. Женщина – страшное орудие в руках дьявола и ею князь мира смущает и губит народ Божий. Все несчастье и пре-

ступление людские – от женщины и от распутства. Мир пропал; он во власти дьявола... В каждом человеке, в каждой твари, и в горах, и в море, в каждой травке и былинке есть сила демонская, мешающая монаху идти путём спасенья. Вот видишь ли ты эту былинку?... (Анфим сорвал травку, как-то проглянувшую между камнями). Что это? простая травка? цветочек?... А ведь и им можно искутиться. Начни-ка я подробно рассматривать эту травку, изучать ее разными стеклами, – и вот я уже служу миру, а не Богу; я отвлекся уже от пути монашеского. А искустителю только и надо.

– А как же науки-то, отче?

– Вот тебе совет мой: коли хочешь спастись, не предавайся мирским наукам; они не приведут к добру, это я по себе знаю. Возьми только слово Божие да творение св. отцов и читай их, не рассуждая. В этом вся наука жизни нашей.

– Да ведь в евангелии говорится, что сам Бог возлюбил мир, что сам Бог сотворил женщину, что он...

Аифим остановил меня строгим, присталь-

НЫМ ВЗГЛЯДОМ.

– Ты меня искушать что ли хочешь? – спросил он. – Нет не искусишь, брат!

После этого он поднялся, медленно подошёл к своей могиле, и дребезжащим голосом запел похоронную молитву.

– Ты не искушал бы меня, если бы знал, что значит искушение... Но ты этого ещё не знаешь! – проговорил он мне с упреком спустя минуту и запел снова. В голосе его зазвучала затаенная скорбь, из глаз просочилась слёза.

– Ей! Богу содействующу! шептал он сквозь слёзы. – Во своя прииде и свои его не прияша... Воистину суета и тление вся житейская!... Все бо исчезаем, все умрем.

Стал он молиться, и не легка была молитва его.

– Пойдёмте вниз! шепнул я Лукиану: – мне тяжело становится.

– Пойдёмте. Он теперь долго будет молиться... Прощайте, отче! мы вниз идем!

Но Анфим не слышал нас.

Мы обогнули камни, среди которых живёт затворник и стали медленно спускаться. Че-

рез несколько минут слышим: кто-то торопливо догоняет нас, и опять увидели Анфима:

– Простите, други, коли чем обидел! – проговорил он, едва переводя дух от усталости, и поклонился нам до земли. Лукиан отвечал ему таким же поклоном, и старик тотчас поспешил обратно к своей келье.

– Молись за нас, отче? – крикнул вслед ему Лукиан.

– Молюсь, молюсь! Дай вам Господи царство небесное! – ответил Анфим, не оборачиваясь и, громко напевая зауспокойные песни, скрылся в расселине камней. Долго ещё слышался в воздухе его дребезжащий голос, потом и он замер где-то.

Я молчал. Мой спутник тоже. Впечатление было слишком полно... И так молча и задумчиво пробирались мы к монастырю по той же, едва проходимой, тропинке. Лукиан, чтобы развлечься немного, мимоходом столкнул в пропасть нависший над нею камень, и он загрохотал, запрыгал, дробя встречные кусты и камни.

– Ишь, как гудет, искушение! сказал монах, прислушиваясь.

– Да, гудет, – ответил я рассеянно.

– Видно на вас подействовали наши пустынные? спросил он опять, заметив мою рассеянность.

– Еще бы! Такие подвиги хоть кого изумят.

– Это так с нову кажется, а мы уже пригляделись. Много у нас таких, и им на то помощь свыше дана. Смотрите теперь, что значит сила-то Божия, умудряющая пустынных! Чудно право!... Это великие люди; ими и мир держится.

Я на это ничего не ответил.

– А то вот ещё есть у нас такие подвижники, – продолжал Лукиан, помолчав: – что совсем от людей скрываются, так что и найти их трудно. Живут они где придется, в разных пещерах да местах непроходимых, и только Бог один свидетель их подвигов. Мне ещё не пришлось видеть таких, а один брат наш видел. Он шёл к монастырю св. Павла, да видно устал и прилег на траву отдохнуть. Там, знаете, место пустынное, дикое, за редкость и человека встретить. Вдруг видит он: на скале за оврагом стоит на коленях человек седой такой и весь почти голый; стоит и молится.

Брат притаился, да видно тот успел заметить, что чужой близко, и сейчас же убежал в гору. Пошёл было брат на то самое место, но никого уж не видал.

– Да может быть это видение было? спросил я.

– Может быть. Да нет, все говорят, что есть у нас такие пустынники, только прячутся больно. А ведь по горе-то есть где спрятаться.

– Чем же кормятся они?

– Бог питает. Едят коренья, траву и раковины. Можёт, как Иоанн Предтеча, акридами да диким медом питаются. Да мало ли пищи на Афоне? Одной травы здешней нам век не переесть.

«Дикое состояние!» невольно мелькнуло в голове моей... Но потом я одумался: дикари живут, не сознавая своих неудобств, а здесь сознательно стремятся к такой жизни; она здесь осмыслена и возведена на степень подвига. Велика, знать, сила воли у человека...

Грустно, невыносимо грустно сделалось мне почему-то... Голова утомилась, в ушах всё ещё болезненно отдавался голос Анфима, и я сам не свой бросился е траву на первой

встречной лужайке. Как бы мне скорее забыть всё это! – думал я, вглядываясь вдаль. А вокруг-то какая жизнь, какая ширь и простор необъятный... Солнце закатывалось, и красным заревом покрыло далекие берега живого мира. Море неподвижно; небо безоблачно и с веселыми песнями носятся по небу ласточки. Где-то в ущелье свищут соловьи, и звучно откликаются им дремлющие рощи. Слышен запах цветущего жасмина и Фиалки. А в траве кипит работа; толпами снуют нагруженные муравьи, жужжат пчелы, стрекочут кузнечики; вот и жук пробирается и тоже тащит что-то; в каждом насекомом, в каждом лепестке и былинке, сильным, бесконечным ключом пробивается жизнь, проглядывает любовь к этой жизни. Чувствовал я, что и во мне самом бьется тот же жизненный пульс природы и зовет он меня к деятельности, манит куда-то... Вот она жизнь-то бесконечная!...

– Эх! искушение. Славное тут место какое, всё бы лежал кажется: – перебил Лукиан мои думы. – А ведь если у нас на земле так хорошо, так что же на небе, значит, будет? в раю-то?

– Может быть хорошо будет, ответил я, но мне ещё пожить хотелось бы...

VII Монастыри штатные (идиоритмы).

Оборотная сторона монашеской жизни на Афоне. – Быт и устройство штатных монастырей. – Прозэсты и игумены. – Величие богатства и униженность бедности. – Ссылный архиерей. – Новые мученики за веру. – Праздник крещение в Иверском монастыре.

Путь лежал нам в монастырь Иверский, первый из штатных монастырей, какой пришлось нам увидеть на Афоне. Медленно громоздились мы, с нашею кладью по патриархальным святогорским дорогам. Тощих мулов усердно подгоняли тощие погонщики, но афонские мулы, зная, не привыкли к скорой езде, и в свою очередь усердно отмахивались хвостами. Поодаль ехал наш неизменный спутник, о. Лукиан, напевая вполголоса «кто Бог велий, яко Бог наш?...» Невесело что-то глядел он на свет Божий.

– Что вы, отче, приуныли? спросил я, подъехав к нему.

– Унывать мне нечего, а только и взаправду невесело переезжать из своей киновии в штатный монастырь. Тут ведь соблазну много.

– А вы побаиваетесь?

– Нет, не то, а всё надо быть на стороже: долго ли до греха? Вот вашему брату так тут раздолье полное, тут и говядину найдёте... Ну-ка прислушайтесь, как птички-то поют! и не чувят, бедные, что беда у них на носу...

Я прислушался: издали слышалось оживленное пение петухов.

– Знакомые песенки?

– Знакомые, отче.

– Да, тут уж миром пахнет; тут только держись, искушение!

Показались водопроводы и первые постройки Ивера. На траве перед дверьми незащитного домика лежала группа болгар-работников с трубками и громко распевала свои национальные песни. С ближайшего холма красиво спускалось в овраг стадо баранов и слышалось их бляенье и звон колоколь-

чиков... И вправду миром пахнуло; знакомые картины вызвали ряд полузабытых воспоминаний и заставили биться сердце мирское от радным биеньем.

Наконец открылись пред нами высокие стены и башни монастырские. Широко раскинулись они на ровном побережье моря с множеством разных отдельных пристроек, с огородами, виноградниками, апельсинными и лимонными садами, напоминая скорее город мирской, чем смиренный монастырь святогорский. На площадке перед монастырем прогуливались монахи, у всех лица свежие; поступь гордая, заметно что-то барское, внушительное. С любопытством глядели они на наше приближение и перешептывались между собой. У ворот встретил нас сам эпитроп (поверенный) монастырский, в шёлковой рясе и полушубке, обшитом дорогими мехами; в руках он держал эпитропский жезл с серебряным набалдашником. Тут же стояло несколько более скромных иноков, между которыми я заметил двух красивых мальчиков, лет 14-ти, одетых по-монашески.

После чинного и гордого приветствия,

эпитроп, прежде всего, повёл нас на поклонение главной святыни Ивера. Подле ворот, внутри монастыря, стоит небольшая часовня, где помещена «страшная видом» чудотворная икона. Иверской Божией матери [33], называемая на Афоне «привратницей,» потому что хотела оставаться непременно при монастырских воротах, не смотря на все усилие монахов поместить ее в главном соборе. Тут мы совершили обычное поклонение и затем уже отправились в приемный покой, где ожидали нас власти монастырские. Вошли мы в чертоги, каких я ещё не видывал на Афоне: потолки с резными орнаментами, на стенах дорогие гравюры, на полах дорогие ковры; всё отзывается роскошью и желаньем жить на широкую ногу. На диванах, поджав под себя ноги, сидели старцы в атласных и бархатных рясах, с янтарными четками. При входе нашем они прошептали своё неизменное «милости просим» и усадили на почётные места. Началось угощенье. По знаку старшего эпитропа, явилась толпа монахов с серебряными подносами, а на подносах вина и сласти разные. «Да где же это мы?...» подумал я, глядя на такую

роскошь.

– Вот как мы живём! с улыбкой произнес один из старцев, заметив моё удивление.

– Да, признаюсь, не ожидал видеть на Афоне такой роскоши, – ответил я.

– Так знайте же, что здесь не киновия, а Ивер, монастырь штатный. У нас вы отдохнете; мы вас приютим и успокоим...

– Мы любим русских, заметил другой: – в Москве наша икона.

А между тем в соседней комнате уж накрывался стол, за который мы вскоре уселись со всеми властями. Блюд подавали множество; казалось, афонские повара-монахи нарочно решились пощеголять перед нами своим искусством. Тут были и супы разные, и жаркое из мяса [34], и фрукты, и соусы, вина вдоволь. Во всё время стола шли оживленные разговоры о монастырских имениях и урожае пшеницы и маслин, и ни слова об искушениях и видениях афонских, точно дело происходило в мире, а не на св. горе. Затем старцы простились с нами и один из братии повел нас в странно-приёмные покои, где в наше распоряжение были отданы пять комнат с от-

дельной домашней церковью. В комнатах тоже прилично и чисто, по крайней мере снаружи, даже блох меньше, чем в других монастырях. Здесь я нашёл отца Лукиана, занятого переборкой наших вещей.

– Что, разговелись? спросил он, лукаво поглядывая на меня.

– Разговелся.

– Эко вам теперь раздолье, как погляжу? Словно сыр в масле кататься будете... Глядите, одних подушек-то сколько натащили вам; спите себе в сласть.

– А вы-то как же?

– Обо мне не заботьтесь. Нашему брату доску под бок да камень под голову – вот и кровать готова. Скучно только жить будет: порядку никакого, никто ничего не знает, все врозь глядят, искушение! Ну да Бог с ними! Давайте-ка спать лучше; вон уж и птичка ваши запели.

– Это всё вы насчет петухов?

– Да какая же другая птица теперь петть будет?... Благословите! Пойду спать.

– Бог благословит.

Но отец Лукиан спать не пошел, а заперся

в церкви читать полунощницу да канон править. А я сел к окну и старался привести в порядок это множество новых впечатлений. Такая роскошь, монахи в шелку да в бархате, мясная пища, песни работников... неужели всё это происходит на Афоне, суровом и строго целомудренном? Если так пойдет дальше, то ничего еще: жить можно...

– Но всё это продолжалось только в первые дни нашего пребывания в Ивере, когда старцы видимо хотели пощеголять перед нами своим богатством. Впоследствии нас оставили в покое и дни за днями пошли обычным афонским чередом со своим утомительным однообразием, а в обедах наших с каждым днем появлялось нечто из прошлого: святогорская травка входила в свои права.

Роскошь и свобода жизни штатных монастырей резко бросаются в глаза после той строгости устава, какой мы видели в киновиях афонских. Там полное отречение от своей воли и безусловное подчинение игумену, а здесь, напротив, дело спасенья предоставлено на волю спасающегося, и потому каждый живёт, как ему совесть позволит, имеет деньги,

ест и пьёт что хочет, одевается по желанию и никто не имеет права вмешиваться в его дела. Такое изменение устава сделано по снисхождению к немощи человеческой, по которой не всякий монах может выносить жизнь киновиатскую или скитскую, а между тем всякому спастись хочется; и вот в штатном монастыре монахи спасаются, веря в силу местного преданья, что Бог спасет их за то только, что они живут на Афоне, а не в мире. Законы монашества о форме костюма и внешнего образа жизни, конечно, и здесь сохраняют свою силу, но в жизни келейной монах никому не даёт отчета.

Игумена в штатных монастырях не бывает (кроме Хиландарского монастыря, где должность игумена, по выбору братии, правит икона Божьей матери троеручицы). Власть монастырскую составляют, так называемые, проэстосы, то-есть, старцы более или менее зажиточные и помогающие каким бы то ни было образом обогащению монастыря (сборщики, вкладчики капитала и т. п.). Эти старцы образуют домашний синод и сообща рассуждают о внутренних и внешних делах

монастыря. Они ежегодно избирают из среды своей эпитропа (поверенного), которому поручают наблюдать за порядком в церкви и трапезе. Проэстосы и эпитроп составляют свой особый замкнутый кружок, нечто в роде монастырской аристократии, а на остальную братию смотрят они свысока, как и следует истым аристократам.

Натянутые отношения между проэстосами и братиею заметны с первого взгляда. Проэстоса сразу можно отличить от остальных монахов по богатству его одежды, гордому взгляду и барской походке; все остальные раболепно кланяется ему и будто за честь считает вступить с ним в разговоры. При полной свободе устава монастырского странно видеть такое раболепие, но в этом раболепии выражается или простое смирение сладости перед силой, или грешное желание умиловить эту гордую силу в надежде на какие-то далекие выгоды. Некоторые монахи живут в штатных монастырях только ради свободы их устава, не имея при этом никаких корыстолюбивых и тщеславных целей. Они стараются никого не затрагивать, не выдаваться из

общего уровня, и кланяются власти во избежание разных неприятностей. Но большинство монахов, вступив в штатный монастырь, постоянно искушаются тщеславием и мечтают о сане проигумена и обществе проэстосов, как о конечной цели своего счастья. Такой монах иной раз всю жизнь унижается перед проэстосами, заискивает их расположение, и усердно копит деньги. Прежде всего, он старается получить сан иеромонаха, потом начинает понемногу сближаться с проэстосами, угощает их вместе и порознь, и когда заметит, что заслужил их благосклонность, жертвует в пользу монастыря от 10 до 20 тысяч пиастров (500 – 1000 рублей). В благодарность за такую жертву, проэстосы принимают его в свой кружок и посвящают его в сан эпитропа, как благодетеля монастырского. Посвящение это происходит следующим образом. За обедней, в присутствии всей братии, на выбранного надевают архиерейскую мантию, дают ему в руки жезл правления и ставят на самое почетное место, где он вслух прочитывает «верую» и «отче наш.» После обедни выбранный устраивает богатый обед для проэстосов,

дарит деньгами певчих, поющих ему многие лета, даёт милостыню беднейшим из братии; словом, этот день становится праздником для монастыря – вообще и для проэстосов – в особенности. С этого дня новый проэстос круто переменяет свои отношение к остальной братии, смотрит на них уже, как начальство. Из всего этого видно, что только достаточный монах может быть проэстосом; но не смотря на это, редкий бедняк в монастыре не мечтает о жезле и власти. Надеется он конечно на случай и на помощь божию.

Звание проэстоса заманчиво для братии не только своим почетным положением в монастыре, но и тем особенно, что проэстосам предоставляется право ездить за сбором подаваний и управлять монастырскими землями вне Афона. Жизнь проэстоса привольная, барская; денег у него, по обыкновению, много; стол и обстановка хорошая, от братских послушаний он свободен, прислуги множество, стоит только хлопнуть в ладоши и вмиг явится пред ним толпа иноков с заискивающими взглядами: остается только взять на себя труд приказать. Монашеские правила и каноны

обязательны конечно и для проэстоса, но он ходит в церковь, когда ему охота придет, и большею частью заставляет кого-нибудь у себя на квартире прочитывать вслух службы церковные, а сам сидит в это время на диване. Очень естественно, что при таком образе жизни у многих проэстосов развивается лень непомерная, над которою лукаво подсмеиваются киновиаты. Сказывали мне, что многие из проэстосов только в том и проводят время, что лежат на диване с чубуком во рту [35]. В самом деле, чем наполняется день проэстоса, испытывает ли он какие искушение – это неизвестно. Как ни войдешь к нему, он или спит или сидит у окна с трубкой. Разговоры его касаются чаще всего политики монастырской, да разных афонских скандальчиков, а в богословские прение он не вдаётся. Афон кладет на проэстосов только тот отпечаток, что они сочувствуют всему, что касается св. горы, и уверяют вместе с прочими, что ненавидят грешный мир.

В каждом штатном монастыре множество наёмной прислуги из окрестных мирян, на обязанности которой лежат все чёрные рабо-

ты монастырские. Если же работа скорого требует окончания, а рабочих рук не хватает, то бедняки-монахи выходят из своих келий на общие послушание и вместе с работниками таскают кули и бревна. К каждому проэ-тосу, тоже в виде послушания, назначается для прислуги несколько беднейших и сми-реннейших братьев, которые часто с радостью принимают эту должность, потому что поль-зуются даровым столом и даже иногда бар-скими подарками, как и вообще дворовая прислуга.

Впрочем, кто не хочет нести тягостей по-слушания, тот может от них откупиться; по-этому монахи, располагающие средствами, или нанимают, вместо себя, каждый раз како-го-нибудь келиота, или вносят в монастыр-скую кассу определенное число пиастров и таким образом навсегда избавляются от обя-занности участвовать в братских послушани-ях.

Каждый монах получает из общих запасов монастырских: печеный хлеб, оливковое мас-ло, вино и крупу, и из этого материала гото-вит себе кушанье в своей келье, прибавляя

разные приправы уже на свой собственный счет, так же, как это делается и в скитах афонских. Поэтому-то здание братской трапезы в штатных монастырях обыкновенно запущено и оставляется без присмотра: полы грязные, столы опрокинуты, кроме нескольких столов, на которых совершают свой ежедневный обед наёмные работники и гости. Общий стол для всей братии и проэстосов бывает только два или три раза в год, и то более для формы, потому что сходятся обедать, большею частью уже пообедавши дома. К этим дням проэстосы обыкновенно припасают несколько провинившихся братьев, и за трапезой в виде наказания, ставят их перед образом с огромными тяжёлыми четками, которые они сообщая перебирают. Братие конечно с любопытством поглядывает на это редкое для неё зрелище и назидается.

Таков склад и устройство штатных монастырей на Афоне. Очевидно, что здесь главную роль играют деньги, господствует деспотизм богатства над бедностью, и бедняку подчас приходится очень плохо, особенно если, по простоте душевной, он не умеет хитрить и

обзаводиться богатыми покровителями. На долю его выпадает много искушений, только эти искушение опять-таки особого рода. Житель штатного монастыря, пожалуй, не увидит никаких видений, не будет томиться искушением чрева, то есть, голодом, но за то его зависть загрызет, измучат думы об улучшении своего состояния. В киновиях, при общем равенстве и неимении собственности, подобных искушений быть не может, но здесь бедняк всегда видит перед собой богатого, может сличить обед собственный с обедом соседа и позавидовать. Притом бедняк, если только в нем ещё не совсем угасло чувство самоуважения, с трудом может выносить то обидное презрение, с каким смотрит на него богатый. Будь он умница, будь он даже сановник какой, но если он не имеет капитала, ему ходу не дадут: его будут выгонять на разные послушания, придирааться к его поведению, чтобы заставить протянуть чётки в трапезе и т. п. Бедняку остается или вечными поклонами заискивать покровительства, или терпеливо переносить все придирки. В одном из штатных монастырей живёт бывший епископ Се-

леврийский, сосланный на Афон патриархом, за его неумение управлять епархией [36]. Почтенный старец не накопил себе в мире богатства, и должен поэтому испытывать на Афоне все неудобства своей нищеты. Ему отдают монахи положенный церковным уставом почет только, когда он служить обедню, а остальное время он и в церкви стоит вместе с беднейшею братиею, и на него никто не обращает внимания. Помещение отвели ему сырое, холодное, грязное, мебель у него убогая, посуда битая, в среди такой неприглядной обстановки, с вечной нуждой перебивается со дня на день добрый пастырь, всеми забытый и всеми презираемый за то, что не умел нажиться на таком хлебном месте. Изредка простосы приглашают его на свои пиры, но там над ним подшучивают, угощают его с высокомерием, будто благодеяние делают, и бедный старик не знает, как держать ему себя на этих обедах. За то однажды я был свидетелем встречи, какую учинили монахи сборщику, возвратившемуся из России с капиталами. Все монастырские власти, при колокольном звоне, вышли встречать его за ворота, потом

торжественно ввели его в церковь и тут же предложили ему жезл епитропский.

Не смотря на такое корыстолюбие и, по-видимому, немонашеские помыслы братии, в штатных монастырях иногда встречаются отшельники, замечательные строгостью жизни и религиозным самоотвержением. Между прочим, в Ивере мне пришлось видеть знаменитого здесь старца Григория, на которого весь Афон смотрит, как на святителя. Он имел трех учеников, которые пострадали за веру Христову в Константинополе и греческою церковью причислены к числу местных святых, под именем новых мучеников. Об этих мучениках я слышал на Афоне множество рассказов, и сущность их вкратце передаю здесь [37]. В бытность свою в Солуне, о. Григорий встретил четырёх юношей, увлеченных в малолетстве в магометанство, но потом снова обратившихся ко Христу. Строгий старец сошелся с ними, испытал степень их веры, и стал проповедовать им общее на востоке поверье, что они только мученичеством могут загладить пред Богом свой прежний грех, и что иначе им нет спасенья. Видя нере-

шительность молодых людей, старец взял их с собою на Афон и решился, во чтобы то ни стало, приготовить их к мученичеству. Здесь, в глубоком подземелье, устроил он четыре отдельные кельи и посадил туда юношей на строгий пост. Шесть недель провели они в этих кельях, дни и ночи размышляя о смерти и читая покаянные молитвы; старец сам поучал их, испытывал их терпение и настраивал их мысли к мученичеству. Наконец затворники, убедившись в необходимости смерти, изъявили твердую решимость пострадать за Христа. Обрадованный старец отправился вместе с ними в Константинополь и разными происками доставил им доступ к султану. Юноши предстали пред светлые очи повели теля правоверных и, движимые ревностью к православию, начали проклинать Магомета и топтать ногами Коран его. Султан, конечно, оскорбился и приказал заключить их в тюрьму, а потом казнить смертью. Григорий и в тюрьме не оставлял их, опасаясь, чтобы их решимость не поколебалась. В день казни один из юношей отказался от православия, а трем остальным срубили головы.

Старец купил тела их, с почестями перевез на Афон, и похоронил близь своей кельи в скиту Иоанна Предтечи. Через три года их кости были вырыты из могил, раздроблены на части и разделены между монастырями, где и составляют до сих пор предмет общего поклонения.

В штатных монастырях нет той мёртвой неподвижности и замкнутости, какая бывает в киновиях; здесь больше жизни и движенья. Перед воротами монастырскими, на площадке, здесь обыкновенно устраивается большая беседка, для вечерних отдыхов и прохлаждение братии. К этой беседке иногда приезжают карейские купцы с товарами и, развесив по перилам разноцветные материи, начинают торг. Монахи по этому случаю целый день толпятся около беседки. Имущая братие запасается обновами, а неимущая просто глазеет на товары, замечая, кто и что себе покупает, и это потом служит предметом долгих разговоров. По праздникам окрестности штатных монастырей особенно оживляются и принима-

ют слишком мирской оттенков. Мирские работники, пользуясь отдыхом, собираются где-нибудь на лужайке и громко распевают песни, или, под звуки доморощенной балалайки, пускаются в плясовую, на потеху братии, наблюдающей за ходом праздника.

В Иверском монастыре я был свидетелем обряда, совершаемого там в праздник крещения. В этот день монахи с крестным ходом выносят к морю икону Богоматери, в память её чудесного плавания [38], и совершают там литию, во всё время шествие бьют в била и клепала и трезвонят в колокола, а работники, рассыпавшись по побережью, приветствуют икону ружейными выстрелами. На берегу один из служащих иеромонахов подходит к самому морю и бросает в волны его небольшой металлический крест. Работники только этого и ждут: вслед за крестом, крича и толкаясь, они тоже бросаются в воду отыскивать этот крест, имея в виду, что нашедшему монастырь даёт в награду 20 пиастров (1 рубль серебром). По окончании литии, процессия тем же порядком отправляется обратно к монастырю, а работники иной раз до позднего ве-

чера купаются в море, пока наконец кто-нибудь из них не отыщет креста. Волны сшибают их с ног и разбрасывают в разные стороны, зимний холод пронизывает их до костей, но удальцы упорно бьются с этими препятствиями. Тут за рубль серебра идёт риск, может быть, на целую жизнь, а монахи в это время спокойно расхаживают по побережью и подсмеиваются над неловкостью удальцов. За год до этого, говорят, одному из работников посчастливилось найти крест очень скоро, но другие тут же бросились отнимать у него находку, и в этой схватке утопили счастливец. За то теперь, если кто найдёт крест, то уже не объявляет товарищам о своей находке, а торопится скорее вылезть из воды и добежать до проэстосов... Откуда появился на Афоне этот странный обычай – неизвестно.

VIII ПРОМЫСЛЫ И ТОРГОВЛЯ.

Местные монашеские работы. – Кресты, чётки и другие резные изделия. – Добывание цветов Богородицы. – Корейская ярмарка. – Типы местных промышленников. – Внешняя торговля.

Миряне, приезжающие на Афон, для пострижения в штатных монастырях, обыкновенно привозят с собою значительные капиталы и живут, как мы видели, в полном довольстве. Другие заблаговременно обзаводятся в мире разными богатыми благодетелями и живут на их счет, пока не оскудеет этот источник. Нищие примазываются к какой-нибудь общине и тоже обеспечены. Но небогатые жители штатных монастырей и особенно бедняки келиоты, немеющие никаких благодетелей, должны жить на свой собственный счет и снискивать себе пропитание работой. Конечно, отшельнику келиоту требуется

немногое: ходит он в рубище, так что единственная одежда может хватить ему чуть не на целую жизнь, для стола ему нужен только кусок хлеба, да кружка воды и только изредка разве фрукты да какая-нибудь приправа к супу; но все-таки если отшельник не захочет ходить по монастырям и просить милостыни, то должен зарабатывать копейку. Притом все келиоты обязаны вносить ежегодно определенную подать аге и ближайшему монастырю, а эта подать довольно значительна. И вот отшельник или нанимается к богатому монаху в работники, или у себя в келье занимается каким-нибудь рукодельем.

Добытые в мире ремесла и знание (кроме научных) на Афоне не пропадают даром и все – башмачники, портные, печники и столяры остаются при тех же званиях и в монашестве. Афон строится, одевается и обувается своими (собственными) трудами, и таким образом мелкая торговая промышленность кипит во всех уголках горы, приготавливая всё нужное на потребу братии. Но ремесла мирские здесь не так выгодны, как выделка вещей, которые составляют исключительное

производство Афона и сбываются многолюдным поклонникам его. К изделиям такого рода принадлежат: кресты, чётки, иконы и другие вещи, в огромном количестве закупается приезжими богомольцами. Поэтому-то большинство афонских тружеников, кроме других работ, занимаются и этим ремеслом. Они режут из дерева или из единороговой кости разной величины кресты, с мелкими изображениями на них священных событий. Режут небольшие, выпуклые иконы; режут наконец деревянные ложки с благословляющей рукой, и, надо сознаться, что некоторые из этих работ отличаются изумительною тонкостью, и много говорят о громадном терпении монашеском. Есть артисты, что содержат мастерские и занимаются резьбою в больших размерах; они режут целые иконостасы с затейливыми орнаментами и заправляют резными работами при отделке монастырских зданий. Некоторые монахи, чтобы не утомлять себя копотливой работой, заказывают металлические формы и, размягчив в кипятке единороговую кость, оттискивают на ней иконы. Такой работой занимаются преимущественно

русские. Прибрежные келиоты ходят по берегу моря и собирают выброшенные водой мелкие раковины. Эти раковины они потом нанизывают на проволоку и таким образом составляют разнокалиберные чётки. Чётки из раковин самими монахами не употребляются для молитв, потому что после долгой молитвы от них болят пальцы, но эти чётки, более нежели другие изделия Афона, нравятся богомольцам и покупаются ими на расхват. Для четок ещё употребляются так называемые «слезки Богоматери» [39], особенное огородное растение, имеющее твердые, круглые семена, которые тоже нанизывают на проволоку.

Есть ещё на Афоне особый род промысла, на который впрочем, не всякий решается. Это добывание неувядаемых «цветов богородицы» [40], растущих на обрывистых и непреступных высях горы. Главная вершина Афона, полая, беломраморная, выдается высокой остроконечной пирамидой, темя которой составляет площадку, не более как в четыре квадратных сажени. От этой площадки идут крутые обрывы вниз, особенно с северной сторо-

ны, где обрыв составляет почти отвесную стену в 300 саженей приблизительно. По этим-то страшным обрывам, из мелких скважин мрамора пробивается неувядаемый цвет. Собирают этот цвет для продажи беднейшие келиоты, которым смерть нестрашна. Ходят они обыкновенно партиями в несколько человек и вместе карабкаются по обрывам, помогая друг другу спускаться и висеть над пропастью на вёревах. Веря, что, без воли божией, смерти не будет, промышленники делают отважные подвиги: спрыгивают на камни, которые едва держатся над бездной, цепляются за сухие корни и т. п. Много сходит им с рук благополучно, но иногда от неосторожности, или излишней самонадеянности, бедняк обрывается и вместе с добычею исчезает в пропасти. В бытность мою на Афоне было три несчастных случая, из которых последний, впрочем, неожиданно превратился в чудо. Один из келиотов улетел в северный обрыв и от него потом нашли только кисть руки да камилавку; другой в глазах товарищей на лету наткнулся на острый выдавшийся камень, так что даже не было возможности снять оттуда труп

несчастливого, и он долго торчал у всех на виду, как знак предосторожности для прочих смельчаков. Третий же, как говорят, долетел до самого дна пропасти и – жив остался. Об этом чуде я слышал с одинаковыми подробностями от многих афонцев, которые сами дивились ему. Инок этот, родом болгарин, с двумя товарищами собирал цветы около самой вершины горы и, как-то поскользнувшись на гладком камне, потерял равновесие и полетел в бездну. На лету он зацепился кушаком за выдавшийся камень и повис. Надежда оживила болгарина и он стал ногами отыскивать какую-нибудь опору, чтобы потом спросить у товарищей веревку, но только что оперся, кушак соскочил и несчастный опять полетел. У самого дна опять зацепился подолом рясы за кустарники и оттуда уже сам прыгнул на землю, причем отшиб себе обе ноги. Между тем товарищи его, протянув, по обыкновению, чётки за упокой погибшего, осторожно спустились на дно пропасти поискать его косточки и взять собранные им цветы, что-бы не даром пропали, – смотрят, а он сидит себе под кустом, обезумев от страха.

Этот болгарин служил предметом всеобщего удивления на Афоне. Он сам едва верил своему паденью и спасенью; и с этих пор уж закалялся собирать цветы. Насколько, в самом деле, вероятно подобное чудо, – пусть судит сам читатель.

Ежегодно несколько монахов гибнет, охотясь за цветами. Но эти поучительные примеры не вразумляют смельчаков; слишком спокойно смотрят они на эту гибель и неустрашимо карабкаются по тем самым обрывам, с которых не одна камилавка улетела в пропасть. Даже цена на цветы, не смотря на трудности их добыванья, очень невысока: пучок из 10 цветков стоит всего 5 к. с.

Однажды, покупая цветы, я разговорился с монахом, который уже более десяти лет торгует ими. Он с полным равнодушием передавал мне смертные случаи многих своих знакомых и только беспрестанно крестился за упокой их.

– Как же вы-то не боитесь после этого? спросил я его.

– Тут бояться нельзя, ответил тот: – потому чуть сробеешь и пропал. Надо помнить, что

если без воли Божией волос с головы не погибнет, то как же монаху пропасть можно? Умереть Бог не допустит, коли есть непрощённые грехи. Вот болгарин не погиб, хоть и свалился; значит ему не все ещё грехи прощены. Да и чем же жить нам, как не цветами? Десять лет ими только и кормлюсь.

– Значит привычка?

– Тут никогда не привыкнешь, никогда не понадеешься на себя. Вот старец мой двадцать лет собирал цветы, да все-таки сгиб в прошлом году, а я, может быть, в нынешнем сгибну. Я впрочем, не один хожу. Коли проважусь, узнают – поминать станут, а больше мне ничего не надо.

Из этих слов можно видеть, какого закала отшельники преимущественно занимаются сбором цветов богородицы.

Главный сбыт рукоделий монашеских производится по субботам в Карее, на тамошнем рынке, и труженики тащат к этому дню в Карею все, что успели наработать и пособрать в течении недели.

Карие – небольшой монашеский городок, подобный которому едва ли где отыщется на

белом свете. Этот оригинальный городок живописно поместился на восточном склоне афонского хребта, высоко над морем и в самом центре монашеского царства. Состоит он из разнокалиберных домиков, принадлежащих монастырям и отдельным монахам, и заселены эти домики или самими монахами, или отдаются в наём приезжим мирянам. Всех домиков насчитывают здесь до двух сот, и при них находится 120 церквей православных. Карие недаром называется столицей Афона: к ней действительно монастыри относятся, как провинциальные города к своей столице. Каждый монастырь имеет здесь своё подворье (кунак), где живут монастырские поверенные и останавливаются гости и поклонники. Здесь помещается афонский протат – высшее правительственное собрание, управляющее внешними и внутренними делами всего Афона, и живёт представитель турецкой власти со своей канцелярией. Здесь находится единственная на Афоне монашеская школа, гостиный двор и наконец, главная тюрьма – высокая грязная башня, куда сажают монахов за важные преступления.

Построена Карие на манер всех вообще восточных городов. Дома сжаты в кучу и лепятся друг на друга; между ними проложены узкие, кривые улицы с канавкой по середине, для стока нечистот; по улицам с обеих сторон устроены лавки, прикрытые сверху деревянными навесами, чтобы солнце не пекло, и в этих лавках заезжие купцы продают разные привозные товары. Тут, конечно, втридорога можно найти всё нужное для монашества – и разные ткацкие материи, и съестные продукты, и рабочие материалы, свечи, бумагу и даже душеспасительные книги. Характер Карей чисто коммерческий, городской; мирские купцы придают ей заметный мирской оттенок, и по тому в ней, кроме должностных лиц, живут постоянно только монахи специалисты по торговой части и разные ремесленники, а остальные монахи бывают проездом и, справив что нужно, торопливо уезжают во свояси. Киновиаты и строгие аскеты очень не жалуют Карею и, во избежание соблазнов греховных, стараются бывать в ней как можно реже. Жители штатных монастырей и богатые келиоты напротив к ней благосклонны и

считают поездку туда лучшим развлечением.

По субботам, в базарные дни, на главной улице Карее ставится ряд столов и на них монахи грудами наваливают кресты, чётки, иконы и другие произведения Афона. Городок оживляется, монашество толкается между столами, снуют приезжие поклонники, но все-таки продающих больше, чем покупающих. Между народом также порой пробиваются увечные и слабые келиоты, прося милостыню. Замечательно, что на этих базарах не слышно ни криков, ни шумного спора, всё как-то обходится тихо и мирно: продавцы никому не навязывают своих изделий, а смиренно стоят у столов, опустив головы, и ждут кого пошлет им Господь. Купят рукоделье – келиот на вырученные деньги тут же покупает себе съестные припасы на целую неделю и материалы для дальнейших работ; не купят – молча сваливает свой товар в торбу и тащит его в свою келью до следующей субботы. Если народу мало в Карее, то на базаре полная тишина, и продавцы, стоя за столами, правят часы и тянут на четках каноны. Три раза в год – в Рождество, Пасху и Успенье в Карее

бывает ярмарка. К этим дням из Солуна привозят на Афон большие тюки с товарами, и игумены монастырские закупают для братии материи и кожу, из которых потом они шьют себе рясы и обувь.

Так как Карие не монастырь, то для неё сделаны некоторые послабления афонского устава: на улицах свободно курят табак и продают мясо, для чего нарочно устроены бойни баранов. Со всех окрестностей свозят сюда петухов, и пенье их день и ночь раздаётся над Кареей. Замечательно, что без куриц петухи живут между собою очень дружно, вместе прогуливаются и сидят на жердях и огородах, заливаясь по очереди песнями, а если и дерутся, то очень редко. На петухов огромный запрос в монастыри штатные и некоторые кельи [41], и не раз случалось мне видеть старцев, возвращающихся из Карей с петухами под мышкой. Тут же идет оживленная торговля котами, на страх крысам святогорским.

Любил я Карею; в ней есть что-то заманчивое, житейское, и в то же время оригинальное. По улицам её носится ароматический запах табаку; лавки большею частью сквозные,

так что весь товар на лицо; сами хозяева сидят тут же, поджав ноги, и работают: кто шьет, кто пилит, кто точит, изредка только приподнимая голову и раскланиваясь со знакомыми монахами. А монахи снуют по Карее, переходя от лавки к лавке, то к одному купцу присядут потолковать, то к другому, и всё это как-то мирно, тихо, по семейному. В переднем углу устроена лавочка живописца Пахомия, и сам он всегда на лицо при своей лавочке. Перед ним кучами разложены печатные изображение Богородицы и разных святых, тут же стоят шкалики с красною и желтою краской, и с необыкновенным проворством смазывает Пахомий этими красками одежду и сиянье. Часто, беседуя с прохожими, он вовсе не глядит на работу, но привычная рука сама исполняет своё дело; иногда, конечно, мимоходом смажет она кое-что и лишнее, но Пахомий хорошо знает невзыскательность своих покупателей и не унывает. Против него стоит башмачная лавка о. Исаии, чеботаря, и сам старик тут же сидит с дратвой и шилом. Лавка его как-то боком выдвинулась на главную улицу, и потому редкий монах не зайдёт

в нее побеседовать. О. Исаии говорун большой руки, особенно если дело коснётся похода Наполеона на Россию (он малоросс). Сорок три года живёт он в Карее, знает все окрестные тайны и за своё покровительство русским монахам и поклонникам прослыл по всему Афону за русского консула. Любят о. Исаию монахи за его откровенную словоохотливость и издалека приходят к нему за советами и свежими новостями. Зайдёшь, бывало, к нему, – старик обрадуется, посадит на табурет и начнёт сообщать, по секрету, что о. Паисия посадили на хлеб, на воду за непослушание, что Геронтий вчера убежал куда-то из монастыря, а Ипатий себе рясу новую шьёт. Из лавочки о. Исаии вся Карие на виду; сидим себе, да наблюдаем за ходом торговли монашеской. Вот на разукрашенном муле едет гордый проэстос покупать себе шелку на рясу, за ним пробирается келиот-бедняга, промышляющий больше насчет съестного. Из-за угла, на средину улицы, выходит глашатай и кричит на всю Карею, что такой то капитан корабля завтра уезжает в Солунь и приглашает желающих отправиться с ним. Сам капитан стоит

тут же и ждёт этих желающих для заключение условий. Потом глашатай кричит, что такому-то келиоту денег в долг поверять не следует, ибо он совсем промотался. Слушают монахи эти вести и потом разносят их по всему Афону. – Вдали толпа расступается и по улице важно проходит ага турецкий в сопровождении слуги, который несёт за ним длинный чубук и кисет с табаком, а о. Исайй в это время шепчет мне, как ага был в плену в России и два года таскал камни для киевских укреплений. Но вот в Протатском соборе зазвучал благовест к вечерне. Карие зашевелилась, засуетилась, лавки торопливо закрывают, столы прячутся, и народ дружно повалил в церковь. Быстро затих городок и только одни угрюмые сардары (наёмные полицианты) мерно расхаживают по опустевшим улицам его.

И так мирно, среди вечной работы, день за днём переживает Карея. Мастера монахи понемногу зарабатывают денежки и строят новые кельи и церкви, которые потом отдают в наймы желающим. Некоторые из них имеют по несколько домиков и получают с них зна-

чительный доход. Жизнь таких монахов проходит в полном раздолье, и в деле спасенья они, как и жители штатных монастырей, никому не дают отчета. Каждый зажиточный мастер имеет при себе нескольких учеников, которые помогают ему в работах, а по смерти хозяина пользуются его наследством и сами становятся мастерами. Многие мастера, зная какое-нибудь определенное мастерство, не брезгают и другими промыслами, если только они им под силу и приносят доход; так например, часовых дел мастер при случае занимается переплетом книг, башмачник деньги в рост отдает, и проч. Раз как-то мне понадобилось сшить себе дорожные брюки. Приехав в Карею, я спросил у монахов, нет ли там мастера и по этой части?

– А вот понаведайтесь к Панкратию, отвечали мне: – он в мире портным был, так может не забыл ещё.

Я пошел. В небольшой темной келейке, где-то на задах Кареи, отыскал я наконец Панкратие за шитьем рясы и объяснил ему своё дело. Панкратий выслушал меня и осмотрел внимательно с ног до головы.

– Вам по французскому надо, или по-турецки спросил он.

– Конечно, лучше бы на европейский манер.

– Что-ж, это можно! И принялся снимать мерку.

Но тут я усумнился в искусстве афонского порт- <...>

IX Состояние наук на Афоне.

Учёность древняя и нынешняя. – Библиотеки. – Что делают монахи со своими книгами? – Остатки языческих древностей. – Школы. – Образчики невежества и суеверий.

⟨...⟩ **Н**ие Афона и придают ему даже важное научное значение.

В этих библиотеках сохранилась налицо вся ученость христианской Византии, есть много редких рукописей и деловых актов, ещё никогда небывших в печати, подробное исследование которых знакомит нас с бытом древних греков и их научным складом [42]. Мы не будем здесь разбирать содержание и состав рукописей, предоставив эту работу специалистам, а пока бросим беглый взгляд на то, как относится к этой учености современное нам афонское монашество.

После погрома византийского, греческая ученость начала быстро исчезать, энергия к наукам ослабела, и в этот период рабства Гре-

ции не произвела ничего замечательного. Афон мало помалу стал наводняться невеждами, которые смотрели на хранящиеся в библиотеках книги, как на старый, бесполезный хлам, и придумывали, какое бы сделать из него практическое употребление, более выгодное. Употребление скоро нашлось, и множество древнейших рукописей погибло безвозвратно. Монахи начали обрывками фолиантов клеивать разбитые стекла в окнах, употреблять их на оклейку разных вещей и на переплёты новых книг. Часто, не находя в рукописях первых листков, мы спрашивали библиотекарей, куда девались эти листки, и получали наивный ответ, что их вероятно рыбы съели. Оказалось, что какой-то счастливец рыболов открыл, что пергамент рыба ест очень бойко и стал насаживать куски пергамента на удочку. Этим открытием воспользовались почти все рыболовы афонские и долгое время кормили рыбу учёными трудами Византии; рыба пожирала пергамент, а монаха в свою очередь съедали рыбу и только этим путём они проглатывали эллинскую ученость. Множество рукописей погибло при

междоусобицах монастырских, когда греки, завладев чьим-нибудь монастырем, топили, жгли и закапывали в землю его библиотеку, чтобы и следа не осталось от прежних владельцев монастыря. Во время эллинского восстания, отразившегося и на Афоне (о чем будет речь впереди), монахи свои рукописи, вместо пыжей, забивали в ружья, или отдавали их пудами заезжим иностранцам из-за куска хлеба. Только в последнее время, когда ученые путешественники с жадностью стали кидаться на рукописи и предлагать за них огромные цены, афонцы смекнули наконец, что рукописи эти следует побереечь и завели даже библиотекарей, которых, в виде послушания, обязали присматривать за путешественниками, чтобы они не воровали и не портили книг [43]. Сначала дивились отцы, почему занимает франков (европейцев) это старье, когда есть книги новые, печатные и в красивых переплетах; но потом на них напал панический страх, чтобы в этом старье не нашлось чего, бросающего тень на Грецию и даже на св. гору. Под влиянием этого страха отцы, круто повернули дело в другую сторону, и

так запрятали свои древности, что теперь не всякий археолог их отыщет: пусть, дескать, никому не достанется...

Теперь в большей части монастырей афонских есть две библиотеки: открытая и секретная. В первую впускают всех желающих, но в ней нет ничего замечательного: набраны для виду несколько негодных печатных книг и рукописей, которых не жалко, только чтоб отделаться от постороннего любопытства. В секретную же библиотеку впускают только доверенных лиц, и то после продолжительных отнекиваний и отговорок, но за то здесь собраны все книжные богатства монастыря. Секретные книгохранилища обыкновенно помещаются или в подвалах, или в сводах церковных, и там, за крепкими затворами, в грязи и сырости, понемногу истлевают ученость древневизантийская. Мне пришлось побывать в этих секретных библиотеках и подивиться той небрежности, с какой монахи держат свои книги. Лишь только отворятся заветные двери, как оттуда уже повеет удушливою, могильною сыростью; внутри большей частью темно и, только приглядевшись,

можно различить у стен огромные шкафы или полки с книгами, а иногда и просто груды книг, сваленную будто мусор в углу. Полки заросли тенетами, покрылись плесенью. Но вот путешественника усаживают, и библиотекарь начинает перед ним бесцеремонно вываливать книги из шкафов на пол. Подымается пыль, разлетаются ветхие листки книг и мириады мокриц и пауков в ужасе бегут в разные стороны; а между тем иначе пересмотреть книги невозможно, потому что они в несколько рядов покрывают одна другую. Рукописи все изорваны, обглоданы крысами и рыбами; в них стадами роятся разные насекомые, даже черви, – а грязи-то, грязи-то сколько!... В некоторых монастырях есть каталоги, неизвестно кем и когда составленные, но этим каталогам доверять не следует: они составлены по первым заголовкам книг, тогда как часто под одним переплетом сшито несколько рукописей разнородного содержания, которые поэтому не входят в каталог. Чтобы отыскать что-нибудь замечательное, нужно самому пересмотреть все рукописи, но много надо иметь терпенья и любви к древ-

ностям, чтобы по несколько часов сряду просиживать и рыться в этих катакомбах. Лучшие на Афоне библиотеки, по чистоте и порядку, находятся в Есфигменѣ, Руссике, Зографе и Хиландаре, по богатству рукописей – в Ватопеде, Ивере и Лавре.

Рукописей своих монахи не читают, как потому, что мало интересуются чтением вообще, так и потому, что не могут разбирать древних почерков. Часто сам библиотекарь, показывая нам ту или другую рукопись, наивно спрашивал: на каком языке она написана: – на арабском, или турецком? и очень дивился, когда его уверяли, что книга написана на родном его языке греческом. Если так знает рукописи библиотекарь, выбираемый обыкновенно из ученых, то что же смыслит в них остальная братия? После этого неудивительно, что она смотрит на свои библиотеки, как на бесполезный балласт.

Также не дружелюбно поступает Афон и с другими остатками древности. От времен языческих здесь сохранилось несколько саркофагов и изваяний, интересных для любителей старины; но с этими вещами монахи по-

ступили иначе, потому что они языческие. Запрятав саркофаги вглубь своих подвалов, монахи старательно уничтожили иссеченные на них фигуры и на месте их нацарапали кресты.

Вообще на Афоне слишком заметен недостаток людей мало-мальски образованных. Есть люди начитанные и хорошо знакомые с богословскими науками, особенно среди даскалов монастырских, но таких очень не много. А было время, что Афон мечтал распространить просвещение даже на окрестные страны. Даже несколько десятков лет тому назад при Ватопедском монастыре была попытка завести училище для воспитания малолетних (вопреки закону о недопущении детей на св. гору), и для этой цели выстроено особое здание за стенами монастырскими. Окрестные поселяне, по приглашению братии, стали привозить туда своих сыновей и внуков, и ученье началось понемногу. Но по случаю неприятных историй и споров, родители принуждены были взять детей своих обратно с Афона. Школа скоро сторела, и до сих пор её закоптелый остов красуется в виду мо-

настыря, служа ему вечным упрёком... Может быть, и к лучшему сторела эта школа... Бог знает, каких деятелей дала бы она миру.

Взамен этого, в Карее не так давно открыто другое училище, но уже для монахов. Оно помещается в большом и красиво разрисованном здании и имеет знающих своё дело преподавателей, выписанных нарочно из Афин. В этом училище учатся до тридцати молодых монахов разным богословским наукам и даже латинскому и французскому языку, вероятно для того, чтобы при случае вести догматические споры с католиками. Через них Афон рассчитывает показать еретическому миру свою силу и, по окончании курса, рассылает их в разные епархии, как апостолов православия. Но таких людей, говорю, слишком мало и огромное большинство обитателей Афона находится в том состоянии блаженного неведения, какое имеют только младенцы, невкушавшие ещё словесного млека. Это младенческое неведение стоит, кажется, в самом принципе афонского подвижничества, как читатель мог заметить это из предыдущих глав. Сколько раз мне приходилось слышать такие

восклицания, выработанные многолетним опытом Афона: «в мирском знании нет спасения! Мирские науки не приведут к добру! Для чего мы будем испытывать судьбы Божии? Он один знает законы мира, и нам ли слабым сравняться с Ним в знании? А коли станет ум кичливый стремиться к знанию, диавол тотчас искушать начнет гордостью, и в сердце грешника понемногу ослабнет смирение перед непостижимой для нас силой Божией...» Иные прямо сознавались, что наука нужна в мире, а не здесь; здесь она только мешает спасению: «да и наше ли это дело? Мы ведь монахи!...» и т. п.

В силу таких принципов монахи косо смотрят на науки вообще и на мирские в особенности, и стараются сохранить своё младенческое неведение. Следствием этого неведение бывает постоянный, суеверный страх и суеверное толкование самых обыкновенных явлений природы. Всё, непонятное с первого взгляда, у них легко объясняется действием силы: или благодатной – Бога, или враждебной – сатаны, действующего попустием Божиим. Случится ли землетрясение или гроза,

и вот в монастырях бьют в набат, торопя братию к молитве, чтобы несчастье миновало обитель. Появится ли гусеница или болезнь какая на винограде, собираются монахи и из требника читают заклинание св. Трифона, чтобы Бог послал на гусеницу ангела своего с огнем и мечем и прогнал ее на место безлюдное, безводное и бесплодное... Если же какое событие хоть немного выходит из ряда обыкновенных, то Афон совсем теряется и не знает, что делать по этому случаю. Несколько лет назад на Афоне зашел, убежавший откуда-то, верблюд и долго разгуливал по горе. В этом кажется, нет ничего удивительного, но на монахов почему-то напал панический страх; в появлении такого необыкновенного путешественника, они видели грозное предзнаменование, видели воплощенную силу нечистую, и каждый монастырь с ужасом ждал приближение верблюда. Только где показывался верблюд, его били и гнали дальше, а братие впадала в уныние, ожидая разных несчастий. Действительно, после него, как нарочно, в Лавре обрушились арки в воротах, а Кутлумуш сгорел только оттого, что верблюд, про-

ходя мимо монастыря, посмотрел на него как-то загадочно. Не знаю, что бы дальше предприняли монахи, если бы не явился хозяин верблюда и не увёл его с собой.

Много толков и суеверного страха произвела большая комета, бывшая в 1858 году. Политики видели в ней меч, угрожающий Турции; не политики – приближение страшного суда. При этом привожу один из множества фактов, дающий понятие о наивности и неведении афонской братии. Самовар, в некоторых закоулках Афона, до сих пор ещё служит предметом диковинным, а труба самоварная и подавно, особенно если она узористая. О. Лукиан, прислушиваясь однажды к толкам греческим о комете, вздумал подшутить над ними. Он среди белого дня наставил трубку самоварную к небу, будто телескоп, и смотрит внимательно.

– Чего ты, отче, глядишь? спрашивает прохожий монах грек.

– Комету наблюдаю, ответил тот положительно.

– Да разве днем видно?

– В трубу видно лучше, чем ночью; даже

надпись можно разобрать на хвосте.

Монах попросил посмотреть. Лукиан конечно согласился.

– Ну что? видишь? спросил он.

– Нет еще.

– Ну, брат, значит у тебя грехов много; а грешный тут ничего не увидит. Давай-ка назад трубу.

– погоди, отче, я ещё посмотрю, может увижу, проговорил тот робко и продолжал упорно глядеть в трубу.

Скоро сошлась порядочная толпа любопытных, и не смотря на то, что о. Лукиан объявил им о своей шутке, самоварная труба до позднего вечера переходила из рук в руки.

Приходилось мне говорить иногда с монахами, даже с даскалами (учителями) афонскими об электричестве, гальванизме, локомотивах и других открытиях науки, но монахи или вовсе не признавали фактов, или прямо видели в них силу демонскую. Мне отвечали, что «ни в св. писании, ни у св. отцев церкви об этом не сказано ни слова: – так что же можно видеть во всём этом, как не вражьи искушения?» И больше говорить со мной не

хотели. Один столетний старик-келиот много времени прожил на Афоне в уединении и блаженном неведении. Доходили и до него стороной темные слухи о каких-то пароходах и паровозах, где работает пар, вместо людей и т. п., но старик пропускал мимо ушей эти слухи и только подсмеивался. «Тут сила нечистая действует, говорил он ученикам: – и к Афону ей не подойти, вспомните вы моё слово!» Но вот ученики передают ему, что слово старческое не сбылось, и пароходы благополучно пристают у Руссика и привозят даже богомольцев. – Так покажите же мне эти пароходы! промолвил озадаченный старец, и решился на этот раз покинуть своё долгое уединение и идти к морю. В день прибытие парохода, его под руки ввели на гору, откуда видна была пристань Руссика, и с высоты горной, как новый Моисей, увидел он частичку мира обетованного. Видел он, как подъезжал пароход, как встречали и провожали его колокольным звоном, (причем пароход не лопнул и не исчез), как потом он тихо и плавно обогнул Афон и скрылся на далеком горизонте. Старик в изумлении поник головою.

– Видел, отче? Видел чудо? спрашивали его ученики.

– Ведите меня домой! ответил тот угрюмо. – Теперь мне только умереть остается; больше видеть уж нечего.

Видно, слишком поразило его это событие и сознание силы науки неволью ворвалось в его стариковскую душу...

Такие же экземпляры неведение и наивно-го любопытства встречаются и между сановными монахами, составляющими власть монастырскую, только у них оно имеет оттенок барский, начальнический. Если такой монах и спрашивает о чёмнибудь, то с достоинством, как будто всё это он уже давно знает и спрашивает только от нечего делать. В собственные рассуждение по части наук он не вдаётся, вероятно потому, что боится промахнуться и уронить себя в глазах мирянина. Помню, раз в собрании проэстосов, мы завели речь о Китае и о последних проделках с ним Англии. Этот разговор особенно заинтересовал одного проэстоса, который до тех пор, кажется, и не подозревал о существовании такой диковинной страны, как Китай. На дру-

гой день он нарочно является к нам, и будто мимоходом, снова заводит речь о Китае. Мы конечно отвечаем, и старик уходит. На третий день та же история и так почти-что каждый день. Как приближаются сумерки, слышим, раздаётся шлепанье башмаков по лестнице, и в дверях показывается седая и толстая фигура «Китая». Раскланявшись и усевшись, он начинает обычный разговор.

– Жарко сегодня?

– Да, жарко.

– А что, в Китае тоже ведь жарко?

– Очень.

– А как там, в Китае, даже крыс едят?

– Едят.

– Солёных?

– И солёных.

– Гм!... Ишь ведь как... люди-то... Ведь, кажется, и церкви православные есть?

– Есть.

– Ну, вот. А как Китай-то далеко отсюда?

– Очень далеко!... И так далее, в этом роде тянется разговор часа полтора. Под конец происходило общее зеванье и «Китай» уходил спать.

Через год я опять неожиданно встретился с этим проэстосом и, желая доставить ему удовольствие, сам заговорил с ним о Китае. Старик обрадовался и с прежним глубокомыслием повторил свои вопросы. Юродство ли было это, или серьёзное увлечение Китаем, не знаю.

Когда приезжие археологи обратили внимание на древности афонские и убедили монахов, что чем больше в монастыре Византийской древности, тем больше ему чести, тогда стали по глазомеру определять древности своих построек и составлять по преданию историю Афона и монастырей его [44]. Начались между ними споры: чья обитель древнее, кто был основателем их и т. п. Хронология и история завертелась в переработке монашеской, событие чудесным образом исказились и теперь не дай Бог никому довериться рассказам монашеским о происхождении и истории святогорских обителей. Все почти монастыри оказались основанными, если не при Константине великом, то не много позже его; каждая вещь украсилась легендой, одна другой древнее; один монах даже уверял меня,

что Протатской собор в Карее заложила сама Богородица в бытность свою на Афоне, хотя этот собор с самой постройки своей празднует день Успенья. Слушая толки монашеские, я спрашивал иногда: как же это, братие, по хронологии оказывается, что такой то монах жил у вас 200 лет, или, что патриарху, освещавшему ваш собор, было в то время только три года от роду?

– Не знаем этого, смиренно отозвались отцы: – так передавали нам старцы наши, и где же нам поверять эти преданья!...

А между тем, следующим путешественникам рассказывали то же самое.

В некоторых монастырях получают газеты из Константинополя и Афин, но эти газеты, в видах политических, читает только начальство монастырское, чтобы узнать, не предвидится ли опасности для Турции, и если предвидится, то какие вследствие этого принять меры. Братие газет не читает, как потому, что в большинстве случаев не умеет, так и потому, что духовники не советуют ей отвлекаться от дел спасительных. Книги духовного содержания, кроме церковно-богослужебных,

тоже редко имеются у монахов: киновиаты их держать не имеют права, как вообще всякую собственность, а иноки остальных общин боятся читать богословские книги, чтобы не впасть в искушение и не дать голове возможности углубляться в тайны премудрости божией. Притом не стоит самому доискиваться разъяснение разных сомнений, когда на эти сомнение должен дать ответы духовник или даскал монастырский. В видах назидания, читаются монахами только четьи-минеи и жизнеописание разных святых, чтобы иметь их образцами для себя. При таком порядке вещей неудивительно, что многие забывают даже то, что успели узнать в мире. А если эти, добытые в мире знание и не отвергаются вовсе, как мирские стяжания, то здесь они скоро получают особый, афонский смысл, отсвечиваются религиозностью и мистикой. За тем отшельник кладет окончательный запрет на свои дерзновенные мысли, и всё безропотно предоставляет знать одному всеведущему Богу.

Х . Искусства .

Живопись древняя и новая. – Различие вкусов старых и новых. – Нынешние иконописцы и художники. – Местные литографии и гравюры. – Пение – Архитектура.

Безотрадное впечатление производят на путешественника образцы современного искусства Афона: его иконопись, его пение церковное и зодчество. Сравнивая эти образцы с образцами древности, опять-таки поневоле убеждаешься, что древний Афон имел более вкуса и лучше ценил искусства, чем нынешний.

Один влиятельный путешественник русский, в бытность свою на Афоне, пришел в восторг от тамошней живописи и, приехав в Россию, объявил, что там прекрасно сохранились древнейшие образцы византийского искусства и что, вместо Рима, на Афон следует посылать наших художников для усовершенствования. Поверив такому восторженному

описанию, художники, прибывшие на Афон, вместе с г. Севастьяновым, с жаром принялись отыскивать эти образцы искусства: они обошли все монастыри, скиты и кельи афонские, где есть какая-нибудь живопись, и после напрасных поисков совершенно упали духом.

– Что ж, видно не понравилось здешнее искусство? спрашивал я потом одного из них,

– Это ужасно! Это невыносимо! Нет ни одной правильной линии!... отвечал тот с жаром. – Мы здесь позабудем даже то, что знали... Руку можно испортить, срисовывая это безобразие! и проч.

Конечно, в этих словах много желчи, и афонская живопись ещё не вся так безобразна, как бы можно было судить о ней по такому отзыву; но все-таки влиятельный путешественник хватил чересчур далеко.

Живопись на Афоне двух родов: иконная и стенная. Иконная пишется на досках и предназначается для всеобщего поклонения, а стенная покрывает внутренние стены церквей афонских, сверху до низу, и предназначается собственно для назидательных размыш-

лений. Та и другая живопись, как мы имели уже случай говорить, имеет строгий, аскетический стиль, не развлекающий очи спасающихся, мирской красотой. Афонский монах не может молиться иконе, если в ней не соблюдены общепринятые условия греческого иконописания относительно одежды и выражение ликов, и если икона хоть сколько-нибудь напоминает мирскую живопись. На все священные изображения итальянской школы он смотрит с пренебрежением: «ты нам подавай, говорит он: – икону, а не картину». Конечно, и в таких изображениях, которые Афон признает иконами, можно было бы найти следы искусства и правильность очертаний, если бы они существовали, но, к сожалению, местные иконописцы этим похвастать не могут. Если вы войдёте днем в афонскую церковь с новейшей живописью, то вас прежде всего ослепит необыкновенная яркость красок, между которыми преобладают цвета: жёлтый, красный и синий, Лица святых, если иногда и напоминают лица человеческие, то лица суровые, изуродованные неискусной кистью доморощенного богомаза,

положение фигур, драпировка и перспектива неправильны и неискусны, так что часто, глядя на позы молящихся, или иначе действующих, лиц, поневоле задумываешься, каким образом можно продержаться в таком положении хоть одну секунду?... Словом, новейшая греческая живопись очень напоминает те ярко раскрашенные печатные иконы, какие тысячами разносят по деревням наши офени. Но за то в целом эта пестрота и яркость красок производит на греков изрядный эффект.

Есть на Афоне закоптелые и попорченные временем остатки живописи древней и более привлекательной, на которую вероятно и рассчитывала наша художественная экспедиция, отправляясь на св. гору. Тут главную роль играют фрески пресловутого афонского Рафаэля – Панселина. Кто был этот Панселин и когда жил он, наши археологи до сих пор ещё не решили, но произведение этого иконописца, в сравнении с современной уродливой живописью, составляют явление отрадное, хотя по правильности и исполнению рисунка, далеко не выдержат художественной кри-

тики. Эта живопись хранится в Протатском соборе в Карее и находится в самом жалком положении, потому что собор, вместе с живописью, подвергался многим превратностям судьбы. Во время завоевание Греции, когда и на Афоне были кровопролитие и беспорядки, Протатский собор едва не был разрушен и около семидесяти лет стоял без крыши, так что фрески его, во всё это время, были открыты непогодам афонским. В 1508 году воевода молдовлахийский, Богдан, решил возобновить храм, сделал потолок и разные пристройки вокруг храма; при этом рабочие, конечно, не церемонились с живописью и вбивали леса прямо в фигуры святых; а при постройке потолка головы святителей, изображенных вверху, чудесным образом очутились по ту сторону потолка и наружи остались только одни их туловища, да ноги. Здание сделалось темно и сыро. Потом, несколько лет тому назад, на Афоне шёл такой дождь, что в Протатском соборе сделалось наводнение и монахи должны были бочками вывозить из него воду. От землетрясений в соборе образовалось несколько трещин, и эти тре-

щины замазаны глиной прямо по живописи. После этого не удивительно, что фрески Панселина кажутся матовыми и не так режут глаза, как яркая живопись остального Афона. Многие из них выигрывают только оттого, что покрыты густым слоем копоти и пыли, который смягчает резкости рисунка; но когда пробовали вычищать эту копоть, то изумленным взорам наблюдателей представлялась таже пестрота и неправильность рисунка, как и в новых иконах; разница между теми и другими оказалась очень невелика. Только несколько мученических фигур производят впечатление хорошее и ставят Панселина все-таки несравненно выше современности афонской, и эти-то фигуры тщательно снимаются новейшими путешественниками, как образцы византийского искусства [45].

Есть и ещё кое-где остатки старинной живописи и везде она кажется лучше современной; но вероятно эти остатки скоро окончательно исчезнут с Афона. Большинство монахов смотрит на древние фрески, как на старье, которое следует подновить, чтоб поярче было. Старая живопись сохраняется здесь

только потому, что в монастырях нет лишних денег, но чуть найдутся эти лишние деньги, старцы шлют приглашение к карейским иконописцам, а те, конечно, везут с собою пудами пресловутую в летописях иконописание вохру да киноварь. Вохра возьмёт своё и чрез несколько времени византийская живопись заблещет яркими переливами стамбульских красок, к немалому восторгу местной братии.

Главные мастерские афонских иконописцев находятся в Карее, и оттуда уже мастера разъезжают по монастырям для работ и поправок, Ремесло иконописца – одно из самых выгодных на Афоне, потому что запрос на иконы слишком велик, и мастера едва успевают управляться с заказами. Каждый живописец держит несколько учеников и им передаёт тайны своего искусства, так что манеры письма без перемены переходят из рода в род, от старших к младшим, сохраняя таким образом однообразие и постоянство колорита. Я однажды имел случай посетить одну из главных мастерских. После долгих переходов, я очутился в светлой, но грязной комнате, уставленной вокруг образами. Среди пола, на

разостланных кожах сидели, поджав ноги, шесть монахов и работали. Перед каждым из них стоял двуногий мольберт, привязанный за верхний конец к потолку. В углу три младших ученика грунтовали доски и клали позолоту на икону. Эти младшие ученики занимаются одной предварительной работой: растирают краски, варят масло, наводят фон и золотят иконы, но рисунки составляет всегда сам мастер. Для образца, в виде указателя, у них есть набросанные карандашом абрисы разных святителей, снятых, как видно, со старинных икон и передающихся тоже из рода в род, по наследству. Я спросил одного из живописцев: почему они не держат никаких более художественных образцов?

– Где же взять их? отвечал тот. – У нас есть гравюры, да те католические, для нас не годятся.

– За то рисунки были бы правильнее.

– Нам правильности и красоты особенной не нужно. Молящийся, по одному, очертанию, может представить себе красоту небесную, как ему угодно. Наше дело только напомнить. Да и можем ли мы нашими красками изобра-

зить сияние славы небесной?...

Так стараются иконописцы объяснить своё не искусство, и придать ему даже религиозный смысл.

Новейшую живопись Афона хотя нельзя похвалить за красоту рисунка, но за то она замечательна своею замысловатостью и обилием содержания. Глядя на афонское изображение, можно последовательно припомнить всю историю изображаемого события, его начало, конец, и даже последствия. Глядя, например, на икону Преображения, видишь в одно время Иисуса Христа, входящего на гору, преобразующегося и потом сходящего с горы, и т. п. Особенно назидательны стенные изображения, помещённые в притворах храма. Тут в картинах изображается весь символ веры, и вселенские соборы с их учением, и даже апокалипсис. Тут же для назидательных размышлений братии изображена лестница Иоанна Лествичника, по которой восходят к нему иноки, а бесы стараются столкнуть их с этой лестницы и уронить в геенну огненную. Геенна изображена под лестницей в виде страшного дракона; из открытой пасти драко-

на пышет полымя, а из полыми торчат ноги инока, сбитого с пути бесами. Рядом обыкновенно помещается изображение монаха, распявшего, в виде креста, плоть свою со страстями и похотями; все члены его плоти покрыты надписями, в которых перечисляются грехи, соответствующие каждому члену. Далее изображена смерть грешника и праведника, преступление Анание и Сапфиры, загробные мытарства, ад с висящими на крючьях грешниками, и рай, в котором ходит благочестивый разбойник с крестом на плече. Есть изображение полемического свойства, например: изображена лодка, наполненная православными христианами, которую управляет сам Иисус Христос, сидящий у руля, а на берегу стоят римский папа и Лютер со своими последователями и длинными баграми силятся они опрокинуть лодку. Если рисуются еретики, то непременно с бесами на плечах, которые нашептывают им лжемудрые речи. Но всего не перечесть. Вообще тут в лицах изображен весь тот мир, где постоянно сосредоточены мысли афонских отшельников, с их вечным *memento mori*.

Каждая община имеет печатные изображение своего монастыря, которые потом она раздает на память своим поклонникам. Эти виды срисовываются местными живописцами, что называется «с птичьего полета», то есть так, что на картине видна и внутренность и наружность монастыря со всеми подробностями пристроек. Тут же обыкновенно рисуется крестный ход; монахи бьют в ток и звонят в колокола; по морю плавают корабли и киты. Однажды старцы, в Руссике, попросили меня снять вид их монастыря. Я снял его, как следует, и показал старцам. Русские остались довольны моей работой, а греки, после долгого рассматривание рисунка, только покачали головами.

– Где же трапеза наша? спрашивали они у меня. Я показал на крышу трапезы, заметную из-за стен монастыря.

– А дверей разве нет у нашей трапезы?

– Да я их не видал с того места, откуда снимал.

– Ну, а где же поварня? Где церковная лестница? Отчего никто не звонит в колокола?

– Этого опять-таки я не мог видеть.

– Нет, это не наш монастырь! заключили греки и возвратили мне рисунок.

Пение, как искусство, на Афоне должно бы процветать во всей силе, потому что монахи большую часть дня или поют, или слушают пение; но оно процветает отчасти только среди русских отшельников. В русских обителях, заключённых в строгие условия киновиатской жизни, хоровое церковное пение проникнуто глубоким аскетическим смыслом и производит на посторонних слушателей сильное впечатление. Унылость напева и тихие, немного однообразные переливы нот – отличительные особенности этого пения; из нот монашеских изгнано все, что может радовать и услаждать слух, запрещены даже все сочинения Бортнянского и других композиторов, напоминающих музыку мирскую, католическую. Не знаю, из каких концов России перешло на Афон это пение, но знаю, что все привозимые, из мира, ноты поступают здесь в цензуру знатоков пения, и из них поется только то, что соответствует отшельническому настроению братии и гармонирует с пустынным складом Афона. Такое пение как то

невольнo настраивает человека на известный лад, и потому, в отношении искусства, стоит несравненно выше пение греческого.

Греки афонские поют обыкновенным церковным напевом, какой употребляется в мирских греческих церквах, но для человека, имеющего хоть сколько-нибудь музыкальное ухо, это пение невыносимо. Мне говорили, что иностранцы, привыкшие к гармонии хорового пения, не могут судить о красотах греческого напева и что надобно непременно привыкнуть к нему, но я в течение целого года силился приучить себя к этим звукам, и не мог. Обыкновенно греческий псалт (певчий), без всякой меры, выводит полутонные, раздражительные завыванья, а остальные вторят ему, подтягивая унисоном один главный тон. В этих звуках нет ни мелодии, ни такта; это не обиходное наше пение, в котором все-таки нет фальшивых нот; у греков звуки как-то странно сливаются и рознят без милосердия. Изредка будто прорвется иногда какой-нибудь осмысленный мотив, но он тотчас же теряется в этом хаосе звуков. К довершению эффекта афонские псалты, вытягивая свои но-

ты, имеют привычку гнусить и петь через нос, и тем ещё более тиранят постороннее ухо. Часто, слушая подобное пение, я думал: неужели есть возможность от этих звуков приходиться в умиление и настроиться к чему-нибудь высокому? Где же это, знаменитое в древней Греции, «сладкозвучное, трисоставное пение?...» Нынешние греки его не знают и в памяти народной уцелело только, что давно когда-то существовало здесь это сладкозвучное пение, но вероятно сладкие звуки его, вместе с последними молитвами падшей Греции, унеслись на небо...

Остается сказать несколько слов о состоянии современного зодчества на Афоне. На счет этого нынешние монахи очень не взыскательны, и архитектура, как искусство, на Афоне вовсе не существует. Монастырские здание и соборы построены, большею частью, до турецкого погрома, и потому всё старание нынешних зодчих обращено на то, чтобы только поддержать старое. Ныне строятся здесь только кельи да малые церкви самого незатейливого рисунка; а если строятся соборные храмы, то по старым образцам и мир-

скими архитекторами. Впрочем надо сознаться, что кельи нынешней постройки более удобны для жизни, чем старые. Что же касается до внешних украшений, то монахи позволили себе только одну роскошь: они большую часть своих соборов выкрасили снаружи яркой красной краской. Все монастыри выстроены по одному образцу: массивные здания братских келий с башнями и бойницами стоят в виде квадрата, образуя в середине широкий двор; на дворе стоит соборная церковь, против неё из двери в дверь – братская трапеза, а вокруг, в беспорядке, налеплено несколько мелких пристроек для кухни, кладовых и т. п. Путешественники, снимавшие планы монастырей афонских, жаловались на неправильность его строений и говорили, что здесь нельзя, например, по одному углу судить о других, но приходится измерять каждый угол отдельно. Лучшее украшение Афона – это его соборные храмы, в архитектуре которых есть легкость, грации и красота, но не нынешним Афоном построены эти храмы.

Вглядываясь в общую массу монастырских построек, в библиотеки и искусства древние

и новые, можно сразу заметить перевес и силу древнего Афона над нынешним; всё говорит, что древний Афон жил одними интересами с остальным человечеством и вместе с ним работал в пользу науки и искусства. Нынешний Афон понемногу уничтожает следы прошлого, он одряхлел уже и едва ли когда приобретет ту силу, какую имел прежде... А может быть, нынешний Афон более верен своему принципу, чем древний? Может быть, отказавшись клятвенно от мира, он и на деле отвергает всё изящества мира и всё то, без чего легко можно спастись?... Может быть!...

XI. Болезни и лечебная часть.

Причины местных болезней. – Монастырские больницы, аптеки и врачи. – Оригинальные способы лечения. – Карейский «профессор медицины.» – Ладонки, заклинанья и нашептыванья. – Келья умалишенных.

От недостатка пищи, изнурительных бдений и постоянной борьбы с плотью, большая часть братии афонской хворает разными болезнями. Преобладающие на Афоне болезни: грыжа и отеки ног – от частых стояний; худосочие и брюшные завалы – от вечного поста; спинная сухотка, чахотка и полное истощение – от разных искушений. Редкий монах избегнет подобных болезней; корень их таится в самом процессе самоумерщвления и в строгости киновиатского и скитского устава, от которого редкая плоть не надломится. Отчасти знают это и сами монахи, и потому смотрят на болезни, как на неизбежные след-

ствие своих подвигов, и переносят их с кротостью и удивительным терпением. Некоторые отшельники, здоровые по природе, сами просят у Бога болезней, в наказание за прошлые грехи и благодарят за них Бога. Конечно, я здесь разумею только истых отшельников, строго наблюдающих за порядком спасения; в штатных монастырях, как известно, порядки не те.

Климат афонский, по словам монахов, поддерживает силы подвижников и разрушает здоровье мирян; но это происходит от того, что местные жители хорошо знают все вредные особенности своей горы и принимают против них разные меры. Афонский полуостров перерезан множеством извилистых ущелий, по которым протекают горные ручьи. В этих ущельях постоянно держится влажность воздуха, и по ночам из них дует едкий и незаметно прохватывающий до озноба ветерок, называемый на Афоне опоем. Кого прохватит этот ветерок, тот едва ли избежит лихорадки или горячки. Особенно страдают от опоя монастыри, расположенные в ущельях, как-то: Зограф, Хиландар и др. Часто мирские по-

клонники захварывают оттого, что в церквах становятся не в формы монашеские, а прямо на мраморном полу и даже отвешивают на нем земные поклоны, или сидят они подолгу на мраморных ступенях церквей. Холод от мрамора, особенно ночью, быстро проникает в тело и поражает его болезнями. Во избежание такой простуды, каждый монах имеет под ногами коврик или старается стоять на деревянной доске, а земные поклоны соборно делает только в посту великом. Незнание этих предосторожностей многим поклонникам стоило жизни, или побуждало их принимать схиму великую.

Казалось бы, что, при аскетическом взгляде отшельников на болезни, вовсе не следует и лечиться от них, или принимать разные предосторожности от простуды, но монахи лечатся, и заболевших старцы отсылают в монастырские больницы, на жертву доморощенным врачам-монахам. Конечно есть монахи, особенно из келиотов, которые, захворав, ни за что не захотят идти против воли Божией и, отвергая услуги местных врачей, стоически умирают в той же келье, где подви-

зались при жизни; но таких немного.

В каждом почти монастыре афонском есть особая больница и при ней врач из монашествующих. От врача на Афоне сведений требуется немного: была бы только вера в милосердие Божие, а всё остальное должно придти само собою. Эту роль исполняют здесь монахи, бывшие в мире цирюльниками, ветеринарами, фельдшерами, а также и простые дилетанты из крестьян, занимавшиеся в мире лечебной практикой. Некоторые научаются лекарскому ремеслу здесь же у местных врачей, состоя при них в качестве учеников и помощников. При каждой больнице есть особая аптека с медикаментами, состоящими из разных трав, солей и спиртов, купленных Бог весть кем и когда, и в этой аптеке врач-монах считается полным хозяином и делает всё, что Бог ему на душу положит [46]. А где нет врача, или он находится в отсутствии, то самому больному вручают ключ от аптеки, и он, помолвившись Богу, сам себе выбирает лекарство. Но, говорят, что такой способ лечения не всегда проходит благополучно.

Методы лечения врачей афонских просты

и бесхитростны. Зная, что монах готовится к жизни вечной, врач при всяком удобном случае открывает желающим двери царства небесного, – не нарочно, конечно, а по неумению... Зная, что монах должен приучать свою плоть к самоумерщвлению, он требует от больного только послушание и терпения, и распоряжается его истощенною плотью без всякой жалости. Больным монахам часто приходится терпеть пытки, едва выносимые. Врач налепит на него шпанских мушек, и на другой день, сорвав пузыри, долго растирает раны суконкой или щеткой, и потом даже посыпают солью, чтобы лучше вытянуло. Больной кричит и мечется, а врач приказывает его держать покрепче и читает ему правила терпенья. Или вытрет он больного регальным маслом [47], так что раны откроются, а иногда и внутрь даст хватить с водою несколько капель, чтоб выжечь болезнь; или наконец выпустит он из больного остатки крови усиленным кровопусканьем. Когда врач заметит, что толку мало и лекарствами ничего не поделаешь, то намекает больному, что время схиму принимать (если больной не схимник),

и даёт знать о том монастырскому начальству. Начальство тогда принимает свои меры; оно соборует больного и причащает его ежедневно до самой смерти. Удивлялся я тому спокойствию, с каким врач произносит больному смертный приговор: «завтра к утру помрешь, отче! говорит он ему: – по глазам вижу, что помрешь: готовься!» Больной тоже спокоен и сам просит читать ему отходную.

Между лекарствами на Афоне главную роль играют очистительные средства. Касторовое масло, английская соль и разные рвотные поглощаются больными в огромном количестве. Врачи дают эти средства цельными стаканами, считая очищение желудка лучшим средством против всех болезней, не смотря на то, что желудки афонские от постоянного поста и без того чисты. Весов и гирь в аптеках афонских я не видал, и врачи кладут специи в лекарства на глазомер, смотря по комплекции больного, и кладут всегда вдвое больше, чем следует, чтоб лучше подействовало. Неудивительно, что при таком способе лечение на Афоне редкая болезнь не бывает смертельною. Есть впрочем такие врачи, что,

боясь взять грех на совесть, не решаются составлять лекарства и лечат только наружными средствами и диетой. Помню я одного монаха, который, чтобы быть подальше от греха, лечил от всех болезней одной шпанской мушкой, прикладывая её без разбора ко всем больным местам пациентов.

– Как же это вы лечите так? спрашивал я его, наблюдая за его операциями. Ведь можно иногда повредить больному мушкой.

– Пустяки-с! ответил врач: я так рассуждаю, что если доктору следует вытянуть болезнь из тела больного, то чем же её вытянешь как не мушкой? Шпанская мушка вытягивает из больного всякую дрянь, так она конечно и самую болезнь вытянет. Это по науке известно.

– Так, говорю. – Ну, и помогает?

– Отчего-же не помогать? Давно уже так лечу и вылечиваю.

Если кто из заболевших имеет деньги и не доверяет монастырским врачам, то отправляется в Карею, где между прочим, живёт профессор медицины афонской, – глухой монах врач. Эта замечательная личность имеет соб-

ственную аптеку, имеет множество практики и пользуется на Афоне общим уважением. Я сам однажды принадлежал к числу пациентов этого старика и его сгорбленная, обрюзгая, но высокомерная личность с аптечным запахом, до сих пор ещё припоминается мне. Чувствуя боль в груди, я, по внушению старцев, обратился к нему за советом. Старик принял меня с достоинством и уже по первому приёму я увидел, что этот врач – высокого полёта. Обыкновенные врачи афонские прежде всего смиренно сознаются, что они лечат больше помощью Божию, а не по наукам; этот же с первых слов объявил мне, что он был в мире одним из самых учёных врачей, участвовал в походах бонапартовских, и раз будто лечил самого Наполеона. Долго он расхваливал себя, вероятно для того, чтобы приобрести моё доверие, и затем начал слушать грудь мою. Выслушав, он объявил, что у меня болезнь очень опасная, что в сердце начал образовываться огромный нарыв и что поэтому мне скоро придется покончить с жизнью. Я, молча, выслушал этот приговор, а доктор из подлобья наблюдал за впечатлением сказан-

ного.

– А между тем это дело очень легко поправить, прибавил он, вздохнув. – У тебя кровь испорчена, и надо, чтобы она вся вышла прочь, а на место её сделалась другая, чистая и здоровая кровь. Сам Бог видно хочет, через меня, даровать тебе жизнь... Это Он надоумил тебя придти ко мне... и проч. и проч. Старец заговорил жалкие слова.

– Что же мне делать надо? спросил я.

– Прежде всего надо молиться; без молитвы тут ничто не поможет... А потом я дам тебе лекарство, которое надо будет принимать целый месяц. Это лекарство так переродит тебя, что сто лет проживешь.

Он ушел в свою аптеку и чрез полчаса вынес тридцать штук мягких ароматических лепёшек, в роде пастилы, и велел мне каждый день проглатывать по одной лепёшке, причем ни есть ни кислого, ни солёного. При этом он вручил мне мелко исписанный листок бумаги.

– А это что? спросил я.

– Это рецепт, ответил врач.

Я прочёл. В рецепте говорилось много о ве-

ре в Бога, о силе науки, клятвенно выражалось обязательство совершенно очистить кровь мою от всех болезней и даже исправить всю нервную систему... В заключение прибавлено было, что всё это стоит два полуимпериала и тридцать фунтов пшеничных сухарей.

Я согласился на все эти условия и взял лекарство. Старик на прощанье выразил мне свою радость, что я жив останусь, и мы расстались но приятельски. Но спасительное лекарство не помогло потому, как объяснили мне местные врачи, что на Афоне я не имел возможности соблюдать строгой диеты.

Вообще, этот врач, как узнал я после, любит очищать кровь у своих пациентов; только с монашеской кровью он обходится несколько проще. Одному больному он, в видах очищения, закатил, говорят, такую порцию очистительного, что местные врачи ничем не могли остановить действие лекарства, и бедняк помер. Когда донесли старику об этом, то он очень удивился и объявил, что действие лекарства ещё не должно было окончиться так скоро; но за то, прибавил он,

если бы больной мог его вынести, то совсем переродился бы.

Кроме этих врачей, врачующих разными аптечными снадобьями «по наукам», некоторые монахи лечат ладонками, нашептываниями, заклинаниями и другими рецептами народной медицины. Такой способ лечения распространен большею частью между русскими монахами из простонародья и употребляется ими только в крайних случаях, когда наука не помогает. Хоть со страхом в душе приступает монах к этим щекотливым для совести обрядам, но он не в силах от них отказаться. Строго аскетический склад Афона не мог вытеснить этих поверий из мозгов русских. Впрочем надо оговориться, что такое лечение здесь происходит не призывом силы демонской, а именем Божиим: все обращение к темным духам старательно выброшено из афонских нашептываний и потому-то, говорят, большая часть этих шептаний не помогает. Я долго хворал на Афоне лихорадками. Местные врачи истощили надо мной все свои сведения, но легче не было. Наконец один монах, после долгих предисловий осторожно за-

говорил со мной о каком-то чудодейственном талисмане, который надо носить на шее, и вызывался достать его.

– Чтож из этого выйдет? спрашивал я его.

– А то, что лихорадки боятся этой ладонки и пропадут сами собой. Вы только соглашайтесь надеть, а там сами увидите, что будет. Кто ее знает, что тут за сила такая? только народ верит ей крепко и попытаться не мешает.

– И поможет?

– Поможет непременно, но только с условием: не смотреть, что будет зашито в ладонке.

Я сперва смеялся, а потом из любопытства решил испробовать на себе силу талисмана. Монах, довольный моим согласием, скоро принес замшевую, зашитую наглухо, ладонку и надел мне ее на шею, упрашивая не рассматривать ее. В первый день я ещё проносил ладонку, и только постоянно ощупывал ее, стараясь догадаться, что такое в ней зашито; но на следующий день я не мог преодолеть искушение любопытства. Пользуясь минутой уединения, я запер дверь своей кельи и осторожно вскрыл ладонку. Там оказался кусочек

белого хлеба, завёрнутый в змеиную кожу. Долго думал я над объяснением этой врачебной загадки, но конечно ничего не выдумал, и обратился за объяснением к тому же монаху. Монах, узнав в чём дело, рассердился не на шутку и сколько не просил я у него ладонки, – не дал.

Один русский инок прославился на Афоне удачным леченьем от укушение змей, посредством нашептыванья. Не смотря на такой щекотливый для веры способ леченья, монахи, даже киновияты, в случае несчастья, обращаются к нему, и тот, говорят, вылечивает.

– И не грех вам лечиться у него? – спрашивал я киновиятов? – Ведь так только колдуны лечат.

– Что же делать-то, когда других средств нет? отвечали они мне. Один больной, в прошлом году, поехал было к карейскому доктору, а тот поставил ему на рану мушку, чтоб вытянуло яд, да потом велел летучей мазью смазать. Что-ж вышло? Рука у больного стала гнить, боль дошла до самого сердца, и бедняк помер. Как же после этого к доктору ездить?

– А этот лечит удачно?

– Этот лечит попросту стоячей водой, да нашептываньем. Вот, намедни, одному из наших змия укусила руку. Рука вздулась; боль непомерная. Пошёл он к духовнику и говорить: – так и так, мол, благослови пойти к Сергию. Духовник благословил и больной отправился. На дороге рука словно бревно стала, так что бедняк еле дотащился до Сергия. Сергей посмотрел: «ничего, говорит, молись богу, вылечим». Положил он его на кровать, сам принёс стоячей воды из прудка, чуть не с полведра, пошептал что-то над нею, спрыснул больную руку и говорит: «пей как можно больше!» Напился отец, а Сергей опять пошептал, вспрыснул и опять говорит: «пей!» – Не могу, отвечает отец. – Пей, а не то плохо будет! – Ну и выпил. Потом в третий раз тоже самое и так заставил его насильно всю воду выпить. После этого отец лёг спать и к утру встал как встрепанный; рука как ни в чём не бывало, только ранка махонькая у ногтя осталась. Дал ему Сергей пластырю залепить, значит, ранку, тем и дело окончилось.

– Ведь это чудо! – заметил я.

– Может и чудо, кто ж его знает! Конечно,

всё от Бога!

Замечательно, что многие питают к этому лекарю суеверный страх, и хотя тот клянется, что не призывает силы нечистой и даже предлагает открыть свой секрет лечения, но никто не решается воспользоваться его предложением.

Этот способ лечения водою напомнил мне другой, подобный. Подле Ксенофского монастыря на Афоне, есть минеральный источник с солоноватою водою, которая тоже иногда употребляется монахами, как очистительное и потогонное средство. Только, чтобы вода подействовала, говорят, надо выпить ее не менее десяти фунтов за раз; а иначе ничего не будет. К этому источнику прежде сходилось много больных, но эти больные стали беспокоить и развлекать обителей Ксенофа, и старцы монастырские приказали завалить источник камнями.

Близь Иверского монастыря есть на Афоне келья умалишенных, где содержатся монахи

больные сумасшествием. Она стоит совершенно одиноко и вся заросла плющом и густым масленичным лесом. В ней при мне было трое больных, и при них одинокий монах-сторож. Гуляя по окрестностям Ивера, я часто заглядывался на эту келью, не предполагая, что там скрыто столько мучительных страданий; но однажды один из проэстосов иверских объяснил мне назначение кельи и пригласил даже посмотреть её. Еще на пути в келью слышали мы неистовые вопли и плач...

– Что это? спросил я спутника.

– А это болгарский монах кричит, бьют верно, – флегматически ответил проэстос.

– За что же бьют-то?

– Вероятно за дело. На них иначе ничем не подействуешь.

Меня покорило.

Вошли. В келье так темно, что надо было пробираться ощупью. Проэстос, чтобы не споткнуться, приказал открыть настежь двери; свет ворвался и только тогда я мог рассмотреть печальное помещение больницы. Представьте себе длинный и узкий коридор, по

обе стороны которого пробиты маленькие окна с железными решётками, а за этими решётками в непроницаемой тьме сидят заключенные. Подле окон находятся постоянно замкнутые двери, чрез которые впускают больных за решетку, а в углу устроено помещение для сторожа. В келье холодно и сыро. Из ближайшего к двери окна раздавался мучительный крик. Я заглянул в решетку и разглядел фигуру болгарина. Он был совершенно гол и дрожал от холода (дело было в декабре) Посиневшее тело его судорожно коробилось и жалось к решетке, слёзы текли градом, и он, то с мольбой, то с угрозой просил хлеба, жаловался, что умирает с голоду. Сторож молчал, сидел спокойно на обрубке дерева и не обращал внимания на эти крики.

– Отчего ж не дают ему есть? спросил я.

– Его никогда не накормишь, – ответил проэстос, – он на том и помешался, что умирает с голоду.

– Хлеба! – кричал болгарин, Ради Христа, сжальтесь отцы! Три дня не ел ничего...

– Дай ему, отче!

Сторож нехотя ушёл в свою комнатку, вы-

нес оттуда зачерствелый ломоть и сунул его за решетку. Болгарин мгновенно смолк, попросил благословение у проэстоса и с жадностью стал глотать этот сухарь, смачивая его слёзами... Тяжело было смотреть на эти муки. «Сумасшедший ли он?» подумал я невольно, глядя на исхудалое лицо страдальца, в котором проглядывало что-то доброе, симпатичное. «А может быть он был полным аскетом и изнуряя себя постоянным голодом, наконец помешался на этой мысли?...»

– Почему он без одежды? спросил я опять. Посмотрите, он весь посинел от холода, ведь теперь зима.

– Да разве он чувствует чтонибудь?... ответил проэстос, – ведь он сумасшедший. Да бросьте его! Вот посмотрите-ка лучше на этого монаха.

Я заглянул в другое окно и впотьмах разглядел седую фигуру старика едва прикрытого изодранным рубищем. Он тихо молился, перебирая, вместо четок, тяжёлые цепи, которыми был прикован к потолку. Крики болгарина, по-видимому, его нисколько не тревожили; вероятно больные уже успели свык-

нуться с ними.

– Вот уж восемь лет на цепи сидит, промолвил проэстос.

– За что же?

– Сумасшедший!

Третий больной спал, связанный по рукам и ногам.

– Вероятно ваши сумасшедшие очень буйствуют, что вы их держите в таком заключении.

– Конечно! С ними теперь что ни сделай, не поймут ничего, будто и не люди... Пойдёмте-ка отсюда на воздух, здесь душно что то!... проговорил проэстос и вывел меня из кельи.

– Анафема! крикнул вслед ему болгарин, но проэстос только улыбнулся и обратившись ко мне сказал: «ну, теперь сами видите, что сумасшедший?...»

– Вижу! – отвечал я.

Грустное впечатление произвела на меня эта прогулка и долго ещё в ушах моих отдавались эти тяжелые вопли и проклятие болгарина.

Недалеко от этой кельи стоит другая, где помещаются прокаженные. Это те несчаст-

ные, которые ещё в мире, получив заразу и отринутые обществом, решились остальные дни своей отравленной жизни провести в уединении и молитве на пустынном Афоне. Келья их стоит в глуши непроходимой, в стороне от всех дорог и местные жители далеко обходят ту келью, боясь заразы. Пищу им носят монахи из Ивера и оставляют на условленном месте, откуда ее берут уже сами больные. Как живут там эти пустынники и сколько их – не знаю, но вероятно доля их на Афоне слишком незавидная, безотрадная...

XII. Правление Афона.

Политические права Афона. – Число монастырей и жителей. – Протат. – Съезды монастырских депутатов. – Подати и налоги для внутренних и внешних расходов. – Отношение к внешней власти.

Афон представляет собою отдельно организованное государство, с оригинальным образом правления, с особыми законами, особым флотом, казначейством, таможеню и самостоятельными отношениями к посторонней власти.

Афон единственное место на всём, подвластном Турции, востоке, где турецкое влияние почти что не существует. Здесь, даже никогда не услышишь ни одного турецкого слова, так что поневоле забываешь, что дело происходит в Турции, а не в Греции. Один только Афон, на всем несвободном востоке, имеет великолепные храмы, свободный колокольный звон и благолепные службы церковные. Пат-

риарх смиряется перед силой Афона; даже сам султан пишет свои фирманы (повеления) Афону не на турецком языке, как обыкновенно, а на греческом, следовательно тоже признаёт его силу. Эта сила Афона заключается в его богатстве, в крепости его наружной организации и, наконец, в общественном мнении местного православного населения, которое, находясь под влиянием духовной власти, видит в Афоне опору православия, смотрит на него, как на учителя.

На всём Афонском полуострове, начиная от Ксеркского канала, находится двадцать монастырей, двенадцать скитов и до восьмисот отдельных келий и калив [48]. Число спасающихся во всех этих обителях в точности определить невозможно, потому что здешние старцы статистикой не занимаются, да и сами, кажется, не знают хорошенько, сколько у них народу спасается.

– Сколько братии в вашем монастыре? спросишь, бывало, у какого-нибудь игумена.

– А кто их знает, ответит тот: – человек сто или полтора ста есть; а может быть и двести наберётся. Не знаю.

– Как же это вы не знаете? ведь у вас на словах выходит в целой сотне разница.

– Да мы не считаем постригающихся: сколько Бог пошлёт, столько и есть на лицо.

Кроме этого ничего не узнаешь, и редкий игумен может сказать приблизительную цифру своей братии. А может быть и с умыслом скрывают они эту цифру, потому что платят подать правительству не за всю братию, а только часть её. Но если считать средним числом на каждый монастырь по 150 человек, на каждый скит по 75 человек и на каждую келью по 3 человека, да при этом взять в расчет отшельников, спасающихся в пещерах и ущельях горных, то число монашествующих на Афоне определится цифрою в 7,000 человек. До греческого восстание монахов, говорят, было здесь до десяти тысяч, но во время восстание Афон потерял, как увидим ниже, порядочную цифру спасающихся, и с тех пор до прежнего многолюдства дойти не может.

Из числа этих 7,000 монахов большинство составляют греки; за ними болгары, русские, сербы, молдаване, валахи и выкресты из турок и евреев. Русских монахов здесь считает-

ся до 500 человек.

Не смотря на это разнообразие национальностей и уставов монастырских, все монастыри со своими скитами и кельями имеют общую связь под единою властью, центр которой находится в столице афонского царства, Карее, и называется протатом. Этот протат, состоящий из представителей всех монастырей святогорских, составляет верховное судище Афона, и кроме его монастыри не признают никакой власти.

В частные дела монастырские протат не мешается и в этом отношении монастыри сохраняют полную независимость и делают, что им вздумается, если только их дела не затрагивают интересов других обителей.

Монастырское начальство, независимо от протата, распоряжается капиталами обители, следит за поступками братии, устраняет между ними разные несогласия, судит виновных и т. п. Скиты и кельи, подвластные монастырям со своими делами и жалобами, относятся также к монастырской власти и та решает их дела и жалобы, не давая никому отчета [49]. Вообще каждый монастырь со своими скита-

ми и кельями представляет нечто отдельное: имеет свою особую печать для делопроизводства, свои корабли под особым флагом, для торговых оборотов, прежде даже имел свои пушки и укрепление для защиты от неприятеля, но со времени греческого восстание эта сила у монастырей отнята.

Если же выйдет какое дело слишком запутанное и имеющее влияние на всю гору, если разногласие братии монастырской послужит соблазном для других обителей, или потребует изменение монастырского устава, то такое дело поступает уже на рассмотрение протата.

Верховный совет протатский составляют уполномоченные депутаты (антипросопы) от всех монастырей святогорских. Эти депутаты постоянно живут в Карее и, по мере накопление дел, собираются вместе для обсуждения и решение их. Заседание совета происходят в просторной и роскошно убранной в восточном вкусе комнате; на потолке её большими литерами написано имя I. Христа, в знак нелицеприятие суда; для этой цели по стенам висят иконы, изображающие храмовые праздники всех монастырей афонских, и каж-

дый депутат садится непременно против своей иконы. Поодаль от них, за решеткой, помещается письмоводитель и подсудимые, если они есть на лицо.

По настоящему, дела совета должны бы решаться большинством голосов, но на Афоне это делается иначе, не по мирскому. Тут только сохранена одна форма депутатского совещания, но равенства между депутатами нет. Из двадцати депутатов монастырских, представляющих лица своих игуменов, только четверо имеют право обсуживать и решать дела, а остальные только прислушиваются к рассуждениям этого квартета, да сообщают о них своим монастырским властям. Афон не мог не преклониться перед богатством и знатностью своих древнейших монастырей: Лавры, Ватопеда, Ивера и Хиландара [50] и потому вся почти власть протата сосредоточена в руках представителей этих монастырей. Каждый из них имеет часть протатской печати, которая только тогда имеет значение, когда сложены её четыре части, следовательно, согласны с делом все их владельцы. Из этих же четырех депутатов, ежегодно, избирается

один «назир», который обязан приводить в действие все решение протата и следить за их исполнением. По истечении года он передаёт свою обязанность следующему депутату, которые в этом случае чередуются между собою. Депутаты остальных монастырей только тогда произносят своё мнение о делах, когда их спросят об этом, или когда от решение протата страдают интересы монастыря. Мнение эти, если они высказаны с толком, могут иметь влияние на ход дел, но только тогда, когда они не противоречат мнению четырех. В случае, если между четырьмя председателями возникнет разногласие или встретится дело особенной важности (например о внешних имениях Афона, о разных требованиях константинопольского патриарха и т. п.), тогда приглашаются в протат все игумены и епитропы монастырские и они решают дела обща. Подобные собрание бывают очень редко.

Каждый депутат монастырский имеет при себе печать своего монастыря и прикладывает ее к делам протата в знак согласие своего начальства и в таком виде решение протата бывают обязательны для всего Афона и на

них нет апелляции.

Протат от имени всего Афона ведёт переговоры с мирскими властями и вообще заботится о внешних интересах горы. Он же разбирает монастырские тяжбы рассматривает жалобы скитян и келиотов на монастыри и судит монахов за особенно важные преступления. Конечно, в этом случае у протата нет никаких определенных, гражданских законов: все дела решаются по евангелию и законам совести, а потому решение дел много зависит от того, как судьи смотрят на евангелие и на совесть.

Делопроизводство протатское и сущность разных жалоб и преступлений монашеских покрыты глубокою тайной; в заседание депутатов, под страхом наказания, не пускают ни одного постороннего монаха, тем более мирянина, а потому нет возможности представить здесь подробную картину афонского делопроизводства. Слышал я только, что председатели протата, избалованные жизнью штатных монастырей, стараются направить дела к пользе этих монастырей и смотрят неблагоприятно на кинонии. Слышал, что успех дела

в протате зависит часто от того, что депутат сумеет передать его красноречиво, и что депутаты, имеющие дипломатический дар слова, могут вертеть делами как захотят, потому что в трудных обстоятельствах к ним обращаются за советом все председатели протата. Поэтому Афон дорожит красноречивыми юристами и каждый игумен, разными происками, старается переманить их в свой монастырь, чтобы, при случае, иметь вес в протате. Слышал я еще, что главный оттенок судопроизводства афонского чисто восточный; тяжбы и жалобы решаются смотря по подаркам, и проигрывают больше неимущие...

Для наказание преступников подле протата находится мрачная и грязная тюремная башня, куда сажают провинившихся на хлеб и на воду. Стараясь выманить у преступников полное сознание в преступлении, их иногда опускают, на веревке, в особое, подземное отделение башни и там оставляют их уже без всякой пищи, до тех пор, пока, измученные голодом, они не откроют правды... Преступников отдают на суд протата в крайних случаях, когда преступление соединено с буй-

ством, или служит соблазном для братии; а за обыкновенные прегрешение начальство расправляется с ними домашним образом: сажает на великий пост в гробницу монастырскую, заставляет отвесить перед кем-нибудь непомерное количество земных поклонов и т. п.

При протате есть особая касса для разных расходов по делам, касающимся благоустройства и безопасности горы. Эта касса пополняется ежегодным денежным взносом всех монастырей, и сумма взноса определена протатом, смотря по богатству и по количеству обитателей каждого монастыря. По этому определению богатейший и древнейший на Афоне монастырь (Лавра) вносит ежегодно в протатскую кассу около 50 тысяч пиастров [51], другие менее богатые, монастыри вносят меньше, а наконец беднейший (Костамонит) платит всего только 4,000 пиастров в год. Весь ежегодный сбор с монастырей доставляет протату сумму в 320 тысяч пиастров. (16 т. руб. сер.). Из этих денег половина идет в Константинополь для уплаты подати султану и разных подарков константинопольской вла-

сти, затем значительная часть отсылается для подарков солунской власти, под ведением которой состоит Афон, 20 т. п. тратится на наём стражи из окрестных мирян, которые исполняют на Афоне полицейскую должность [52], 16 т. п. идёт на жалованье карейскому аге, и наконец, из этой же суммы главный назир протатский берет 800 п. жалованья и 10 т. п. на дрова. Остальная сумма тратится, по усмотрению протата, на разные непредвиденные случаи.

Казённая подать на Афоне полагается по 30 пиастров (1 р. 50 к.) в год с души и составляет ежегодную цифру в 60 тысяч п., которая вся сполна поступает во владение матери султана, потому что Афон принадлежит к числу её имений. Надо заметить, что Афон скрывает от правительства настоящую цифру своих обитателей и платит только за 2,000 человек (так было по крайней мере несколько лет тому назад). Поэтому, когда является сюда, из Солуня, какой-нибудь поверенный солунского паши, для наблюдений за правильностью сбора податей, то большинство братии, по приказанию старцев, разбегаются из мона-

стырей по окрестным лесам и возвращаются только по миновании опасности. Такое дело принадлежит к числу домашних тайн Афона, но эта тайна почти что всем известна. Знает о ней и карейский ага, но, ублаговворяемый подарками, благоразумно молчит; отчасти знает и солунский паша, но тоже смотрит сквозь пальцы [53].

Не смотря на подобные утайки, всё таки Афону приходится платить изрядные цифры разным властям, особенно тем, на которых не может действовать его нравственная и догматическая сила; но Афон не скупится на подарки, потому что ими он покупает у власти свою независимость. Без этого на Востоке нельзя.

Денежные сборы дороже всего обходятся келиотам афонским. Монастыри знают на перечёт всех своих келиотов и редкий из них отвертится от платежа требуемой суммы. Каждый владелец отдельной кельи обязан ежегодно внести в монастырь свой, на упомянутые расходы, около 200 пиастров, кроме той суммы, которую он платит монастырю за наём кельи. Поэтому, если при монастыре

много отдельных келий, то сбор с них почти что окупает требуемую от монастыря протатом сумму... Видно закон то везде одинаков, что на бедных упадает вся тягость податей и сборов. Жалуются келиоты всем и каждому на эти притеснения, да против силы, знать, ничего не сделаешь...

Задарив внешние власти, Афон никого не боится и пользуется полной свободой. В церковном отношении он находится под непосредственным начальством константинопольского патриарха, но этот патриарх власти имеет над ним немного. Он если и пишет Афону свои послание и приказания, то с уважением, как особой силе, великой во мнении народа, и даже иногда просит у него совета по разным делам. Афон иногда даже шлёт отказы на разные требование патриарха. Так, например, в начале 1859 года, когда константинопольский патриарх, задолжав банкирам до 7 миллионов пиастров, обратился к Афону с приглашением прислать своих депутатов, для рассуждение о средствах покрыть этот долг, игумены Афонские, обсудив в протате все невыгоды подобного предложения, посла-

ли патриарху решительный отказ. Или например, во время прошлой восточной войны, патриарх, по приказанию турецкой власти, прислал на Афон повеление молиться Богу за успех турецкого оружие и поражение русских войск. Протат, получив такое щекотливое повеление, созвал всех игуменов монастырских и те, после долгого спора, предоставили это дело на волю каждого монастыря. Три монастыря решились исполнять волю патриарха и молились, за что приказано, а остальные отказались наотрез...

Султан турецкий пишет свои фирманы (приказания) Афону на греческом языке и на всём Востоке один только Афон пользуется этою льготою. Фирманы свои султан даёт разным влиятельным путешественникам с тем, чтобы Афон показывал им все свои сокровища и библиотеки. Но на монастырские власти мало действуют эти фирманы; конечно они таких путешественников принимают почётно и со смирением, но за то нарочно стараются скрыть от них свои сокровища из опасения, чтобы влиятельный путешественник не подметил чего лишнего и не донес о том кому

не следует доносить. Когда путешествовал по Востоку принц английский, сын королевы Виктории, то солунский паша предписал Афону встречать принца втрое лучше, чем он встречал нашего в. к. Константина Николаевича. Афонские старцы долго думали над этим предписанием и условились, говорят, давать принцу по три порции каждого угощения, то есть, вместо одной чашки кофе, давать ему три и проч. Но принц, к счастью, заезжал на Афон только на несколько часов.

В виде представителя турецкой власти, в Карее постоянно живёт ага-магометанин со своим помощником. Этот ага получает от протата ежегодного жалованья 1,000 р. сер. и кроме того, под предлогом ревизии, каждый год объезжает все монастыри с двумя кавасами [54], из которых один возит за ним чернильницу, а другой курительную трубку. Завидев такое шествие, властные старцы вынимают из казны монастырской приличную сумму денег, которую и вручают аге в виде подарка. Таким образом ага получает содержание порядочное, но за то не только не имеет влияние на ход дел святогорских, но даже сам под-

чиняется приговорам протата и разным уставам Афона. Он выдает только паспорта отъезжающим, принимает подати и таможенный доход и пересылает их в Солунь. Продав остальную власть свою, он ни во что более не мешается и живёт полным аскетом. Он вечно среди монахов, вечно лишен общества товарищеского и рад от души, когда встретит на Афоне какого-нибудь европейца, с которым поболтать можно. Гарем свой он долго усиливался поместить в Карее же, но протат этого ему не позволил и жены аги правоверного принуждены жить в г. Ериссо, в 70 верстах от своего мужа.

Таким образом, оградив себя, по возможности, от влияние внешних властей, Афон всеми средствами старается поддержать свою независимость и для этой цели в Константинополе, в Молдавии и Валахии и в других местах имеет своих депутатов, которые отстаивают права Афона пред человечеством и ищут ему богатых покровителей между сильными мира сего.

XIII . Политика.

Политика внутренняя. – Междоусобные распри между монастырями и национальностями, населяющими Афон. – Тяжбы за имения. – Споры о древностях монастырских. – Политика внешняя. – Недоверчивость к иностранцам. – Участие монахов в политических восстаниях Греции.

Афон, составляя единое целое, имеет свою особенную политику, как внутреннюю, так и внешнюю.

Каждый, кому приходилось долго жить на Афоне и вглядываться в жизнь и деятельность его, мог заметить, что Афон дорожит своею независимостью, хочет устранить всякое влияние мирских властей на свои дела и во всем, что ведет к достижению этой цели, все монастыри действуют с полным единодушием. Но в то же время заметно и то, что взаимные отношения монастырей холодны и эгоистичны и даже часто они поедом едят

друг друга. Несколько раз приходилось мне на Афоне слышать горькие жалобы степенных и преданных делу спасение старцев на эти внутренние неустройства и частые столкновение монастырских интересов, которые иногда вводят начальство обителей в соблазн греховный. Горевали старцы степенные искренно, горевал и я вместе с ними, потому что при настоящем устройстве монастырей святогорских эти столкновение неизбежны. Они, может, прекратились бы, если бы монастыри имели одни уставы для спасения, одну общую кассу для расходов и все доходы делили бы поровну. Но это ещё пока невозможно.

Все монастырские дела, внутренние и внешние, братие вполне доверяет своим властным старцам, а сама не только не мешает в эти дела, но подчас даже и не знает, о чем толкуют старцы и что им Бог положил на душу. Особенно строгие отшельники, не обращающие внимание ни на какие толки, иной раз по 20 лет живут в монастыре и ничего не знают. Спросишь их, бывало, о какой тяжбе или ссоре, так они только крестятся да вздыхают.

– Не наше дело, говорят они: – на то нам старцев Бог дал, чтобы о делах толковать: у них спросите!...

Эти старцы (игумены, проэстосы, эпитропы, духовники и даскалы) выбираются из монахов дельных и оказавших юридические и административные способности, потому что от этих способностей зависит весь ход дел монастырских. В самом деле, много надо иметь старцу изворотливости ума и характера, чтобы уметь управиться с братиею, направить все помышление её к одной цели и в то же время тонко следить за другими обителями, которые всячески стараются скрыть свои настоящие намерения. Много надо ему иметь дальновидности, чтобы сообразить, какие последствия будут от того, например, что в Ивер митрополит погостить приехал, а Дохиар с Зографом тяжбу начали? Не предвидится ли тут какой тайной опасности, нельзя ли что предпринять?... Если где власть обладает такими способностями, то монастырь процветает и входит во славу, а если не обладает, то дело, конечно, плохо, и вся надежда только на помощь Божию.

Властные старцы имеют какой-то особенный, монастырский патриотизм, в силу которого они стараются друг перед другом поднять значение своей обители и увеличить её капиталы в ущерб прочим обителям. Отсюда возникают вечные споры о том, какая обитель почётнее или скромнее, какая лучше или хуже и каждая, конечно, хвалит сама себя. Мы уже имели случай говорить, как спорили монастыри о древности своего происхождения. Этот спор поднялся из-за того, что учёные путешественники с уважением стали относиться к древностям афонским; вот старцы и начали друг перед другом выхваляться своими древностями и составили при этом целые легенды баснословного свойства о своих ктиторах, а монастыри, основанные недавно, поневоле смирились. Точно также выхваляются они друг перед другом своими чудесами, чудотворными иконами и обилием мощей, богатством и древностью своих ризниц и утвари, – и монастыри богатые и прославленные чудесами, смотрят с пренебрежением на остальные, менее богатые и чудесные.

Вся земля афонского полуострова с давних

пор разделена между монастырями и границы этих владений до наших дней служат предметом бесконечных споров. Чуть разбогатеет какой монастырь, первым делом он спешит предъявить свои права на землю, соседние обитатели, конечно, не уступают и спорное дело завязывается. Оно сначала поступает на рассмотрение протата, которому, по этому случаю, каждая сторона подносит подарки: потом переходит к аге, тоже с подарками; от аги к солунскому паше, с подарками, и наконец доходит до Константинополя, где тоже нельзя обойтись без подарков. От ценности этих подарков, конечно, зависит весь успех спора и кто больше даст, тот и выиграет. Иногда тяжбы возникают из за нескольких сажен земли, или даже из за одной кельи и тянутся по нескольку лет; кассы монастырские истощаются, драгоценные вещи идут в заклад, долги растут, а между тем каждый монастырь, как бы ни был он беден, ни за что не уступит противнику и бьётся из последних сил, чтобы задарить начальство. Эти тяжбы – бич для Афона, и без преувеличения можно сказать, что большинство капиталов мона-

стырских погибает за тяжбами и переходит во владение турецкой власти. Несколько лет тому назад есфигменский сборщик привез из России около 50 тысяч руб. сер. и монастырское начальство сряду же после этого возобновило свою застарелую тяжбу с соседним Хиландарским монастырем о нескольких десятинах земли. Спор был проигран, но в нем Есфигмен ухлопал весь свой капитал и, кроме того, наделал множество долгов, для покрытие которых ему пришлось посылать за новым сбором. Недавно Ксенофский монастырь оттягал у Руссика целый скит, и тамошние греки, из опасения, чтобы скит опять когда-нибудь не перешёл во владение Руссика, стали истреблять в нем всё русское. При этом они жгли и закапывали в землю русские книги, рукописи, иконы, даже сосуды с русскими надписями, чтобы и русского духа в ските не осталось... С грустью узнали об этом старцы Руссика, и за недостатком денег, скрыли на сердце горькое оскорбление, но вероятно впоследствии они возобновят ещё спор об этом ските и опять постараются захватить его в свои руки.

Штатные и общежительные монастыри имеют уставы противоположные один другому. У них одинаковы только службы церковные, а келейная жизнь, особенно у богатых монахов, не та, что в киновиях. Штатные и общежительные монахи отличаются друг от друга и костюмом и пищей и взглядом на путь к спасению, а потому отношение их не братские. Киновиаты желчно подсмеиваются над штатными монахами и стараются избегать столкновений с ними, а те, в свою очередь, почти никогда не заглядывают в киновии. Эта взаимная неприязнь заметна с первого взгляда и даже выразилась в письмах святогорца, но киновиаты по неволе должны скрывать её, потому что в руках штатных монастырей, как мы видели, находится вся власть афонская.

Немало ссор между братиею афонскою происходит от того, что здесь постоянно сталкиваются разные национальные элементы. Не смотря на полное желание переделать себя, монаху трудно бывает истребить в себе чувство национальности и потому каждая национальность на Афоне сохраняет свои ти-

пичные черты характера, свой народный патриотизм и относится враждебно ко всякой другой национальности. Преобладающий элемент здесь греческий и, не смотря на общую ненависть к грекам, все другие народности как-то невольно подчиняются греческому влиянию. Греки – народ суровый, скрытный и в то же время вкрадчивый, напряженно стараются где бы то ни было упрочивать свой родной элемент и захватывать власть в свои руки. В Руссике один монах-грек однажды сказал мне великую истину: «мы прежде были светилами мудрости земной, говорил он: – мы выработали начала науки и искусства; но потом разные варвары разграбили у нас всё это богатство. Осталось у греков только гордость и честолюбие народное и этого наследие предков не отнимет у нас никто!...» Монах, по принципу, должен отказаться и от этого чувства, но грек отказаться от него не может: природное честолюбие только замаскируется и уйдёт в глубь души монаха, но оно будет главным двигателем всей его деятельности, особенно если он получит власть какую. Если несколько греков поступят в ка-

кой-нибудь славянский монастырь, то они приглядевшись, начинают по немногу переманивать туда и других земляков своих и с изумительным терпением добиваются того, чтобы власть игуменская перешла в руки грека. Лишь только удастся это, греки свободнее вступают в свои права, и вместе с игуменом так ловко поведут дела, что редкий старожил уцелеет в обители. Захватив монастырь в свои руки, греки начинают истреблять всё, оставшееся от прежних владельцев и заводить своё. Таким образом несколько чужеземных монастырей на Афоне перешло в вечное владение греков...

Славяне, напротив, поступив в греческий монастырь, играют в нём незавидные роли и по простоте своей скоро стушевываются и свыкаются со своим положением. Греки не поручают этим пришлецам никакой должности, не позволяют им даже служить на родном языке и требуют строгого подчинения своим правилам и обычаям. Славянин тогда только может добиться почетного места в греческом монастыре, когда он скроет своё происхождение и прикинется греком. Некоторые

славяне поселяются в греческие обители, в виде особенного душеспасительного подвига, чтобы наказать себя за прошлые грехи.

На Афоне слишком резко заметна враждебность народности греческой и славянской. Славяне не любят греков за то, что те смотрят на славян свысока и ловко умеют пользоваться их простотою; славяне сердятся, а между тем не имеют сил избавиться от этой опеки. Часто слышал я, как славяне, расхваливая свою обитель, с гордостью говорили, что у них нет ни одного грека и ставили это одним из главных достоинств обители. Афон дивится, что греки и русские в нынешнем Руссике живут до сих пор очень мирно, тем более, что у всех ещё свежа в памяти та кровавая катастрофа, какую закончил своё существование старый Руссик [55]. Но в этом мире пока нет ещё ничего удивительного: греки довольны тем, что управление Руссика находится в их руках, а русские тем, что владеют монастырскими богатствами. Порываются русские завладеть и властью монастырскою, но протат этого, конечно, никогда не позволит.

Кроме общей ненависти к грекам, славяне

сохраняют ещё местную племенную замкнутость, по которой болгары подчас не сходятся с сербами, те с молдаванами и т. п. Даже русские и малороссы иногда ссорятся. На Афоне есть малороссийский скит, Пророко-Ильинский, в котором, вместе с малороссами, жили прежде и великороссы. Мало по малу между теми и другими начались ссоры, которые дошли однажды до того, что малороссы выгнали из своего скита всех москалей и заперли за ними ворота. Москали постояли несколько времени у ворот, а потом, увидев, что дело пошло не на шутку, пошли искать приюта по другим монастырям. А малороссы после этого снова святили свою церковь и кельи, оскверненные присутствием москалей. Нынче, впрочем, москали, опять начинают понемногу собираться в этот скит...

Малоросс никак не может переносить той насмешки, с какою смотрит на него великоросс и серьёзно обижается каждою шуткой, а москалю это почему то нравится.

Часто приходилось мне замечать на дорогах святогорских их наивные встречи, при чём русский не может удержаться, чтобы не

сказать чего.

– Мазепа! проговорил он со злодейской улыбкой.

– Чего Мазепа? ответит малоросс обидясь: – мазепины мощи на Дунае лежат и чудеса от них всякие бывают. А на св. гробе за Мазепу вечно молятся Богу. Вот какой Мазепа, а ты смеёшься...

– Врёшь, хохол.

– Молчи, Богдан москалевский...

– Да ну, не сердись, отче, благослови!

– Бог тебя благословит.

И разойдутся, москаль долго после этого ухмыляется.

Все эти разногласие производят взаимные столкновение обитателей афонских и поселяют иногда раздор между братиею. Главная забота монастырских властей состоит в том, чтобы уладить эти раздоры и скрыть их от постороннего взгляда. Потому все власти горячо преследуют тех монахов, которые не уживаются на одном месте и, переходя из монастыря в монастырь, разносят по Афону разные сплетни.

По этому поводу я припоминаю одну

странную встречу.

Однажды я был в гостях у одного келиота и о чём то толковал с монахами. В это время в келью вошёл новый, незнакомый мне, монах: худой, болезненный, с дикими, испуганными взглядом. Робко огляделся он вокруг и просил позволение поговорить со мною наедине. Я согласился, а собеседники мои значительно переглянулись и вышли. Монах запер за нами двери на ключ, потом, молча, сел против меня и дрожал всем телом. Он заметно порывался начать разговор, но не находил силы... «Не помешанный ли какой?» подумал я.

– Вы дрожите, отче, заговорил я: – вы верно больны?

– Задрожишь поневоле, мрачно ответил тот. – Скажите, вы русский? спросил он по-гречески.

– Да.

– Так расскажите вашему царю, как поедете в Россию, какие вещи делаются на Афоне.

– А что?

– Да вот я, например, не могу жить спокойно ни в одном монастыре; меня везде гонят, ругают, следят за мною; меня... монах огля-

делся: – меня утопить хотят, добавил он тихо: – и я не знаю куда спрятаться... Задрожись поневоле...

– За что же вас преследуют?

– За то, что я знаю наперечёт все тайны афонские, за то, что я хочу вывести их на свежую воду...

Он болезненно вздохнул и снова огляделся, не запряталось ли где постороннее ухо. Страшно и жалко было глядеть на него.

– Знаете ли вы, что здесь зачастую, против Павловского монастыря, по ночам, топят монахов таких, как я? Запросто завяжут в мешок с песком, отъедут от берега и опустят на дно морское, а там ведь полтора сажен глубины – не спасешься... И меня хотят тоже... Или утопят, или подстрелят: два раза уже стреляли...

– Что же мне то делать? спросил я, не зная верить ему или нет.

– А я хоть погибну, но вы скажите... Да нет, позвольте мне бумаги и чернил, я сам напишу просьбу царю.

Я дал ему все, что надо было и монах сел писать. Долго он собирался с мыслями, нако-

нец начал выводить титул... Но не успел он написать даже двух строк, как хозяин кельи громко стукнул в двери. Собеседник мой побледнел, запрятал бумагу и, отомкнув дверь, опрометью бросился бежать.

– А! это ты? крикнул вслед ему старец, – беги, беги, а то попадешься!... Что он говорил вам? спросил он, обратившись ко мне.

– Что-то странное, чему и верить не хочется, отвечал я и рассказал ему сущность нашей беседы. Старец улыбнулся.

– Только это? Ну, слава Богу, хоть он смирен был, а то мы боялись за вас.

– Кто же это такой? '

– Да это один сумасшедший грек, от которого советуем держаться подальше, а то, пожалуй, изувечит. Его скоро упрячут в келью умалишённых.

Впоследствии я убедился, – что этот грек в самом деле сумасшедший, потому что всем рассказывал свои тайны...

Каждый монах, проживший на Афоне

несколько лет, приобретает особого рода патриотизм, по которому радуется от души внешним успехам и славе Афона и грустит о его неудачах. Владыки афонские единодушно отстаивают независимость горы: они оградились от влияния турецкого, стали в хорошие отношения к патриарху и теперь только боятся опасности со стороны России. На Афоне существует общее убеждение, перешедшее туда из мира, что Россия непременно покорит Турцию, а когда покорит, то, пожалуй, вся Греция перейдет в русское владение, а вместе с нею и Афон конечно. Этого протату не хочется и потому он боится всего, что может усилить русское влияние на его дела. С каждым увеличением русского монашества на горе протат задумывается и принимает меры; с прибытием каждого влиятельного поклонника, опасается: не скрывается ли тут какая-нибудь политическая тайна? Когда в Руссике постригся в монахи (в 1835 г.) князь Ширинский-Шихматов и около русского князя начали собираться все русские иноки, протат прислал Руссику повеление удалить князя из монастыря, потому что с его присутствием в Руссике Афон бо-

ится за свою целость. Князь принужден был удалиться в скит Пророко-Ильинский, где и кончил жизнь в смирении. Когда, в августе 1858 г., в Руссик пришёл первый пароход нашего общества пароходства и торговли, Афон струсил [56] и просил Руссик отказать пароходству; но когда это не было исполнено и рейсы начались, по горе пошли смутные политические толки, и три монастыря, вследствие этого, признали над собою покровительство Англии. Этот факт показывает, что Афон перепугался не на шутку, потому что он всегда питал глубокую ненависть ко всем иноверцам.

Было время, когда Афон с оружием в руках воевал за свою независимость. В 1821 году, когда восстание греческое распространилось по всем окрестностям горы, на Афоне явились апостолы этого восстания и стали бродить из монастыря в монастырь, призывая монахов на защиту православия от магометанства. В то время между монахами были ещё жаркие патриоты, которые готовы были бежать с Афона, лишь бы побиться с турками; они присоединили свой призыв к призыву пришель-

цев и Афон начал шевелиться. Монастыри здешние построены по образцу крепостей с бойницами, сторожевыми башнями и зубчатыми стенами и тогда ещё имели у себя пушки и разное оружие, чтобы защищаться от морских разбойников, часто беспокоивших св. гору. Все это было принято в расчет, монастыри вооружились и когда в виду Афона показался флот инсургентов, когда сюда было прислано множество прокламаций, – патриоты не выдержали. У них явилась мысль, нельзя ли воспользоваться этим случаем и приобрести себе полную независимость от турецкой власти? Быстро составили они в протате совещание и решили вооружить свои корабли и взять приступом город Ковалу, а потом Солунь. В монастырях из металлических вещей стали лить пули, а в Карее учредили монетный двор, где из риз образных начали чеканить свою монету афонскую... Две тысячи монахов были вооружены чем попало и на тридцати судах монастырских, под своим флагом, тронулись к Ковале. Но эта экспедиция не имела успеха: одна часть её воротилась с половины дороги, а другая была разби-

та турками. Турки после этого отправили на Афон своё войско, и монахи, пользуясь неприступною местностью, дружно встретили их у Ксерксова канала, но были разбиты.

Страшно было мщение турок. Большинство защитников Афона было загнано в море и потоплено; турки беспощадно резали каждого встречного; кровь полилась по всей горе. Монахи бросали свои кельи и, захватив свои драгоценности, спасались где могли, но главные зачинщики были схвачены и потом сгнили в Солунской тюрьме. Всего погибло, говорят, до 4,000 монахов и в этом числе погибли все лучшие люди Афона. Потом понемногу стали опять собираться сюда разбежавшиеся отшельники, но жизнь их пошла уже не по прежнему; стража турецкая поселилась в монастырях и в течение десяти лет (до 1831 г.) не покидала Афона. Эта стража, конечно, не стеснялась уставами монашескими, в церквах и трапезах она разводила огни для варки нищи, выкалывала глаза святым на иконах, словом, бесчинствовала как могла. Когда она, по милости султана, оставила монастыри, Афон ожил и стал поправляться, но монахи

навсегда прокляли минуту своего увлечения.

В последнюю восточную войну (1854 г.) монахи оставались нейтральными и вели дела иначе.

Ещё когда мы проезжали через г. Ериссо, нам одна молодая поселанка рассказывала, как она жила на горе афонской. Мы ей тогда не поверили, а между тем это оказалось правдой. В прошлую войну множество окрестных поселян со своими жёнами и детьми, в течение пяти месяцев, бродили по св. горе, спасаясь от ярости турок. К чести Афона надо сказать, что монахи обошлись с ними хорошо и во всё это время выдавали им пищу из запасов монастырских, обязав клятвою всех женщин не подходить близко к монастырям, и вообще к жилищам монашеским. Много при этом, конечно, было разных искушений, демоны работали сильно, но, ведь, без этого нельзя...

Тогда же прибыл на св. гору один из предводителей местного восстания, некто Чам, и с толпою удальцов вызвался защищать Афон от турок. Проученные горьким опытом, монахи думали было отказать ему, но Чам насиль-

но вытребовал с каждого монастыря значительную сумму денег на военные расходы, поселился в здании Карейского училища, под именем князя сикийского и афонского и стал было вербовать монахов в свои ряды. Но монахи не поддались и когда к берегам Афона прибыл английский военный фрегат, они выдали ему Чама и всех его товарищей.

Тем закончились военные подвиги афонского монашества.

Неизвестно, что будет дальше, только едва ли когда Афон решится опять взяться за оружие, тем более, что нынешние монахи горячо осуждают своих предков за их политическое увлечение. – «Монашеское ли это дело? говорят они. – Нам ли, убогим, братья за оружие? Наше оружие должно быть духовное; наша сила в православии».

И действительно, Афон заботится ныне преимущественно о силе и тонкости своего духовного оружия.

XIV. Средства к жизни.

Монастырские имение и доходы с них. – Сборы подаяний. – Изобретательность сборщиков, чтобы увеличить свои сборы. – Частные пожертвования. – Наследства, и проч.

Афон питается благотворительностью и доброхотными подаяниями ради спасение души. Основы этих подаяний лежат в религиозных чувствах православных народов, поэтому чем больше в народе этих чувств, тем больше средств к жизни имеет Афон. Утвердив своё внешнее благосостояние на таких прочных основах, Афон разбогател и может быть вполне уверен в безбедном существовании своем на далекие времена. Конечно, средства его будут постоянно колебаться, смотря по приливу и отливу народного благочестия, которому они служат наглядной меркой, но окончательно упадет Афон только тогда, когда в массе народной заметно пошатнутся религиозные основы, а до этого ещё

очень далеко.

Главный и постоянный доход Афон получает со своих обширных земель, пожертвованных ему, в вечное владение, разными благочестивыми царями ещё до погрома византийского. В то время Афон играл важную роль; игумены монастырские имели легкий доступ во дворцы царские и прямо высказывали земным владыкам свои нужды и желания. Ревнуя о спасении души, благочестивые цари щедро жертвовали им разные земли вместе с людьми, сёлами «и со всем яже есть в них,» и давали Афону дарственные записи (хрисовулы) на право вечного владения этими землями, угрожая страшными проклятиями тому, кто дерзнул бы покуситься на это право. С нашествием турок значительная часть этих имений была отнята у св. горы, но за всем тем у каждого монастыря уцелели до сих пор обширные земли в окрестностях Афона, в России [57], Сербии, Болгарии и преимущественно в соединенных княжествах Молдавии и Валахии. Эти земли вполне обеспечивают содержание Афона; в них главная его сила. Монастыри получают с них годовые запа-

сы пшеницы, маслин, оливкового масла и других жизненных продуктов, а продукты, оставшиеся в избытке, продаются и поступают в казну монастырскую в виде золота. Казалось бы, что при таком порядке вещей можно жить припеваючи, но Афон не знаком с экономическими началами хозяйства и потому получает только часть того, что следовало бы получить ему. Дело в том, что управление своими имениями он доверил на совесть своих эпитропов (поверенных) и не требует от них почти ни какого отчета. Вследствие этой безотчетности в управлении, большинство эпитропов, особенно в дальних имениях, не оправдывают на себе доверие братии и злоупотребляют её доходами. По немощи человеческой они устроили себе великолепные палаты, завели роскошный стол и обстановку и, желая как-нибудь воротить истраченные деньги, стали прижимать народ, обременять его непосильными работами и налогами. Народ обнищал, земли истощились – доходов стало ещё меньше. Конечно, во всём этом виноваты отцы афонские, не устроившие над имениями никакого контроля. Слышат они

обо всех этих беспорядках и наивно удивляются им, недоумевая, чем горю помочь. Не раз приходилось мне слышать жалобы старцев на неисправность эпитропов, жалобы горькие, но наивные.

– Что же вы не смените их, коли плохо управляют? спрашивал я старцев.

– Кого ж выбрать-то! недоумевали старцы. – Посылаем обыкновенно самых лучших и честных монахов, а толку всё мало. Сперва ещё ничего, исправны бывают, а потом всё меньше и меньше шлют. Слышим то, другое, а что тут станешь делать? Вот прежде мы получали с нашего имение по 1,800 голл. червонцев в год, а нынче всего только 800 получили. Куда девалась эта тысяча, Бог ее знает. Видно, нашему брату не следует уезжать с Афона, а то как выехал, так и сгиб...

– Да вы бы мирского кого наняли, может быть тогда лучше дело пошло.

Нет, мирского нельзя; свой всё-таки лучше: свой по крайней мере очень согрешить побоится, а мирскому-то где указ?... Нет уж видно искушение это нам от Господа Бога послано: терпеть надо.

И всегда кончалось тем, что старцы отдавали всё на власть Божию и смотрели на беспорядки, как на горькую неизбежность. Очевидно, что при таком взгляде на вещи, поверенные жили спокойно в имениях и продолжали свои дела. Афон не предчувствовал никакой грозы, а между тем гроза готова разразиться над ним...

Ещё в бытность мою на св. горе, там впервые пронёсся смутный слух, что румынский князь, Куза, замышляет отнять имение монастырские в пользу своего народа. Сначала монахи этому и верить не хотели, но слух подтвердился. В мире заговорили, что пора, мол, румынскому народу подумать и о собственных интересах, что странно видеть, как чуть не половина княжества (считая тут и святогробские имения) работает на монахов, которые не приносят им никакой видимой пользы. В газетах стали появляться статьи не в пользу монашества. Афон зашевелился; на Кузу посыпались проклятия. Властные старцы, которые по обязанности должны защищать интересы вверенного им братства, вынули из монастырских архивов дарственные

записи князей и воевод молдо-влахийских, предъявили их куда следует и, в полной вере на помощь Божию, решились защищаться. – «Имение не наши, говорили старцы: – они пожертвованы Богу и Он сам вступится за свои права... Мы, отшельники, должны поддерживать эти земли во имя тех душ, на помин которых они пожертвованы Афону, а на голову дерзкого попирателя прав Божиих пусть падут все проклятия, написанные в наших хрисулахъ [58]...» Куза предлагал им значительный выкуп за имения, обещал дать монастырям денежное обеспечение из казны княжеской, но монахи отвергли все эти предложения; они усилили свои молитвы и посты, разослали во все концы Европы своих ходатаев с просьбою о защите и твердо были уверены в заступничестве Бога.

Но событиям суждено было совершиться не в пользу Афона. Не смотря на общий и энергический протест всего восточного духовенства против Кузы, европейская конференция, собравшаяся в Константинополе для решение вопроса о монастырских имениях, в сентябре 1865 г. объявила константинополь-

скому патриарху, что эти имение должны быть конфискованы в пользу народа и что о возвращении их монастырям не может быть и речи. В виде вознаграждение за убытки, конференция предложила для раздачи монастырям сумму в 150 миллионов пиастров (около 7,500,000 рублей), назначенную для этой цели румынским правительством. Дело таким образом было окончено и имение перешли в другие руки.

Бог знает, к худшему или к лучшему поведёт отнятие этих земель у Афона?... Бесспорно, что теперь его влияние в княжествах исчезнет и главнейшие капиталы страны пойдут на удовлетворение других интересов, чуждых Афону. Бесспорна, что сумма, предложенная конференцией, слишком мала и никогда не в состоянии вознаградить монастыри за понесенные ими убытки, и что вследствие этой меры большинство братии должно будет удалиться с Афона и на нём останутся только истые аскеты. Но бесспорно и то, что отнятие имений Кузою может послужить примером для других правительств, которые впоследствии пожелают отнять и остальные

земли у Афона и тем в конец подорвать его силу. Конечно, у Афона, как увидим ниже, кроме дохода с имений, есть много других источников дохода, но все эти источники имеют характер более или менее случайный и если Афону придётся только этими источниками поддерживать своё существование, он окончательно потеряет свою независимость, а с нею и свой громадный авторитет в глазах местного населения.

Кроме постоянного дохода с имений вполне обеспечивающего прокормление братии афонской, монастыри имеют ещё другие частные доходы, и в этом отношении старцы монастырские изыскивают всевозможные средства к увеличению общинных капиталов на случай разных построек и других непредвиденных расходов.

Каждый новый постриженец бывает выгоден для обитателей афонских. В штатных монастырях с каждого постриженца, при вступлении его в монастырь, берут в монастырскую кассу неопределенную сумму денег, смотря по состоянию постригающегося; а в киновиях, где запрещена всякая личная собственность,

всё имущество постригающегося поступает в полную собственность монастыря. Потому каждый монастырь, ради собственных выгод, старается сманить в монашество людей побогаче, а бедных не слишком жалует.

Случается, что русским монахам-киновиатам присылают из России письма вместе с деньгами. Какой-нибудь земляк, или родственник, соболезнуя о трудах монашеских, земляка, сунет ему в письмо рублишко, другой, чтобы, сердечный, мог хоть тайком отвести душу и погулять. Все такие письма вскрываются ещё в Одессе особым благодетелем, который копит эти деньги, а потом в общей сумме пересылает в монастырь.

Затем, значительный сбор Афону доставляют его многочисленные поклонники. С обыкновенных богомольцев, нищих духом и карманом, пожива очень плоха, и даже их самих, из жалости, иногда приходится кормить бесплатно. Но чуть появится поклонник более или менее капитальный, весь Афон обращает на него внимание и встречает как почетного и выгодного гостя, стараясь всевозможными средствами привести его в умиле-

ние и расположить к щедрости. В какой монастырь он не пожалует, везде, после поклонение местной святыне, ему отведут лучшие комнаты, а потом с кротким смирением и печальными лицами соберутся к нему старцы и горько будут жаловаться на свою бедность да долги неоплатные; намекнут на спасение души, на вечные молитвы свои за благодетелей, – и разжалобят наконец поклонника [59]. Особенно наши русские купцы не могут равнодушно слышать эти жалобы. Видя себя предметом общего внимания, заседаая на почётных местах в церкви и трапезе, соблазняясь почётным именем ктитора и благодетеля монастырского, купец, наконец, вынет кошель свою.

– Была, не была, скажет он старцам: – чем нашему брату на скверные дела тратить деньги, лучше вам помочь: спасайтесь-ко на мой счёт, отцы, только чур молиться шибче за мою душу, а как помру, так, значит, сорокоусты править... Слышите?

– В веки вечные поминать будем, брате! ответят старцы и дадут ему собственноручно записаться в поминальную книгу.

Иногда старцы, заметив, что капитальный поклонник чересчур разжалобился, попытаются узнать: не имеет ли он желание сам принять монашество, и если имеет, то попросят его, ради нужд братии, поскорее выписать из мира свои капиталы, чтобы они не пропали там; а если нет – попросят поискать им в мире богатых благодетелей и заявить, где придется о нуждах Афона. Отыскав благодетелей таких, старцы ведут с ними постоянную переписку в душеспасительном тоне, а те изредка присылают им деньги и, умирая, даже отказывают им значительные наследства.

Приходилось и мне выслушивать жалобы монашеские на бедность и соболезовать вместе со старцами, что горю пособить нечем.

– А имение у вас есть гденибудь? спросил я однажды в Ставроникитском монастыре, выслушав длинные жалобы.

– Какие у нас имения? отвечали мне старцы уныло: – мы люди бедные. Есть маленькая земляца в Валахии, да пользы с ней мало.

– Сколько, например, в год?

– Да всего каких-нибудь тысячу голландских червонцев. А нас ведь тут тридцать че-

ловек спасается.

– Значит, приходится по 100 р. с. на брата в год. Ну, а хлеб как?

– Хлеб, конечно, получаем с Кассандры, да мало до того, что лишнего ничего не остается.

И это считается на Афоне бедностью, потому что не даёт запасного капитала. И в самом деле, Ставроникитский монастырь один из беднейших на св. горе.

Странно иной раз слышать эти жалкие речи среди такой обстановки, которая прямо говорит о достатках монастыря. И надо правду сказать, что русские не так способны на эти лицемерные речи, как греки и, вообще, восточные жители.

Верным и капитальным пособием для монастырей служат, наконец, сборы по миру доброхотных подаяний и каждый монастырь с нетерпением ждёт того времени, когда ему получится разрешение на сбор [60]. Обязанность сборщика старцы обыкновенно поручают людям сметливым, ловким и бывалым, потому что от этих качеств преимущественно зависит цифра сбора. Отправление сборщика в мир бывает очень трогательно. За ним уха-

живают, наставляют как действовать, надают ему кучу рекомендательных писем к разным щедрым и влиятельным лицам; затем служитя молебен и начинается чин прощанья. Каждому старцу сборщик кланяется в ноги и просит благословения, с каждым братом целуется в плечо.

– Благословите отцы, говорит он в смущении: – благословите послужить ко благу св. обители нашей!... Ревность имею ко благу.

– Послужи отче, послужи! Бог благословит! Только бегай искушений: бес бо силён.

– Буду бегать. Сотворю послушание вам.

И идёт он, напутствуемый сотнями братских благословений и многие с невольною завистью глядят на отъезд его в мир. Редкий из братии отказался бы от такого лестного и выгодного поручения, тем более, что под предлогом сбора здесь представляется возможность со спокойною совестью покинуть Афон и поглядеться с родиной.

Так как в Россию дозволяется являться сборщикам афонским в виде особенной милости, и эта милость, даётся не часто, то сборы на нужды монастырские, конечно, всею тяже-

стью ложатся на бедные классы местного православного населения. Сборщики, круглый год, бродят по сёлам славянским и греческим, стараясь по возможности разжалобить поселян; но надо признаться, что эти жалобы не совсем достигают своей цели. Народ, изнурённый частыми поборами монашескими, принимает этих странников очень не дружелюбно. Поэтому сборы доброхотных подаяний здесь подвигаются туго и, чтобы собрать кое-что, сборщикам приходится обращаться к разным уловкам, выдумывать новые приемы и подчас даже употреблять насилие. Сами сборщики рассказывали мне, что «благочестие народное на востоке до того умалилось, что приходится собирать только под страхом проклятие небесного.» В самом деле, с местными жителями сборщики обходятся крайне бесцеремонно и в каждой семье требуют денег не как благотворения, а как неизбежной подати Афону, угрожая в противном случае гневом небесным и адскими муками.

– Где ж нам-то денег взять, отцы? спрашивает испуганная семья. – Вот вчера у нас архиерейский сборщик собирал подать; на днях

святогробский тоже был... А мы вот третий год дитю окрестить не можем, да сын целый год уж лежит в земле без отпеванья, и всё потому, что денег таких нет... Ведь вы знаете нашего владыку?

– Нам самим нечего есть, отвечают сборщики; – а вы нас кормить должны, потому что мы за вас Богу молимся. А не дадите, – Бог вас накажет, ведь мы ради имени Его просим.

Слушает семья разные угрозы и в страхе отдаёт им последние гроши, лишь бы только сняли с неё клятву. Сборщики успокаивают их и отправляются дальше.

Как бы то ни было, но сбор все-таки идёт и сборщики возвращаются на Афон с деньгами. На эти деньги монастыри покупают себе корабли, строят церкви и ведут тяжбы. Знают старцы, что с большим трудом достаются им эти добрыхотные подаяния, но считают этот труд неизбежностью.

– У нас народ бедный, толкуют они: – с него жалко и брать много; а вот кабы в Россию...

Россия для Афона золотое дно и сборщики едут туда с полной уверенностью на огромный сбор, потому что благочестие на Ру-

си ещё не оскудело. Приезжают они к нам обыкновенно с частями животворящего древа и св. мощей, с большими запасами крестов, чёток и картин святогорских. Каждый из нас по несколько раз встречал здесь этих иноков с робкими взглядами, в порыжелых рясках и низких камилавках. Эти-то люди имеют громадное значение на Руси и с глубоким благоговением принимает и слушает их наш люд православный. Много у нас и своих сборщиков из разных русских монастырей, но они не имеют такого авторитета; на них смотрят именно как на своих, «а эти, сердечные, в Афоне были, Царьград видели, – в них, значит, и благодати больше.» Такому благодатному сборщику во всём поверят, только рассказывай, ну и начнёт он рассказывать народу про чудеса великие, про турок, про заступничество царицы небесной, про то, наконец, как эта царица явилась ему во сне, и велела обратиться к русским за помощью. А мужику всё это занятно кажется, точно он житие какое читает, по сердцу у него благодать ходит, а сбор между тем растёт и растёт. А много великих дел могли бы сделать на Руси

эти люди, если бы они имели хоть каплю образования и если бы видели в своей пропаганде не одну только денежную цель. Народ смотрит на них, как на представителей мудрости афонской, по ним судит об остальных подвижниках св. горы. Силою своего авторитета, они могли бы просветить и очистить религиозный смысл народа, а между тем оказывается, что они только более затемняют этот смысл, что в награду за гостеприимство, они проводят в народ одно невежество, дают крепкую поддержку его суеверию и за всё это берут деньги, и большие деньги. Ходят они таким образом из села в село, от Архангельска до Астрахани и Камчатки, служат молебны, читают разные заклинанья и изгоняют бесов, рассказывая при этом разные были и небылицы. Один из таких сборщиков однажды до того увлекся своей пропагандой, что вздумал постригать наших баб деревенских в монахини, взимая за это с каждой по золотому. Четыре бабы успел постричь он, на пятой едва не попался и принужден был искать спасение в бегстве.

Убедившись в легковерии нашего народа и

придумывая средства к увеличению сбора, эти представители Афона часто увлекаются подобным образом и увлечение их иногда доходит до последних границ терпимости. Из множества фактов подобного увлечения, расскажу один факт, переданный мне очевидцем. Несколько лет тому назад в Казанской губернии монахи, выдававшие себя за сборщиков афонских, возили с собою по деревням большую чашу, до краёв наполненную маслом. В масле плавала косточка. Эту косточку сборщики выдавали за часть мощей какого-то святителя, а масло за миро неиссякаемое. Ополоумевший народ толпами ходил за ними и за большие деньги покупал это масло, чтобы мазаться им в случае разных болезней. Кучи денег сыпались в карманы сборщиков, но они почему-то побоялись долго оставаться в тех краях и решились отплыть со своей святыней в Нижний Новгород. Не рискуя ехать вместе с прочими пассажирами, они наняли особый пароход, под тем предлогом, что многие недостойны ехать с такой святыней. При этом, говорят, некоторые купцы неотступно просили взять их с собою, и за каждый билет

на пароходе платили по триста рублей серебром. И много фактов подобного рода приходилось мне слышать, – фактов печальных, в которых, право, не знаешь чему удивляться более: ловкости ли сборщиков или легковерию нашего бедного народа? Случается, впрочем, что под именем Афонских сборщиков тут промышляют сборщики особого рода, которые обыкновенно кончают свои приключения в рудниках сибирских.

Сановные представители Афона не ходят по деревням и селам, не выпрашивают по квартирам и книжку, но сохраняют приличную сану важность. Приехав в какой-нибудь город, они нанимают особую квартиру и объявляют в газетах, что такие-то сборщики остановились там-то и принимают желающих в такие-то часы. При этом помещают они краткое описание своей обители, её редкого благочестия и непомерной бедности (при чём большую часть искажают правду [61]); затем, в заключение, прибавляют несколько душеспасительных слов. Написав такое объявление, сборщики спокойно остаются дома в полной уверенности, что деньги придут к ним сами,

и деньги действительно идут. Чудное имя Афона привлекает к ним множество сердобольных благотворителей, которые несут им посильную ленту, ради спасения душевного. Эти сборщики играют ту же роль по отношению к нашим, так называемым, образованным классам, какую играют сборщики не санные по отношению к простому народу. Их приглашают в разные дома для молебнов и назидательных размышлений, с уважением спрашивают о чудесах и подвигах братии афонской и здесь-то, среди набожного и влиятельного общества, окруженные общим вниманием, сборщики излагают взгляды афонские на мир, на науку, на людские отношения и прочее. Не мудрено, что набожные люди слушают эти речи как законы жизни святой, и какая-нибудь старушка долго потом остаётся под влиянием этих речей.

– Да! проговорит она в размышлении: – все это правда святая; я и сама так думала!... И в ней является благочестивое желание ещё раз послушать этих праведников и снова шлёт она за ними свою карету.

Собрав в городе достаточное количество

подаяний и заметив, что дольше оставаться в нем нечего, сановитые сборщики отправляются в другие города и действуют опять таким же образом. И так переезжают они из города в город до тех пор, пока не выйдет срок, дозволенный для сбора.

Замечательно, что наши русские монахи не совсем жалуют афонских и принимают их довольно сухо. Особенно не любят их наши сборщики подаяний, у которых те отбивают значительный доход. Раз как-то мне пришлось говорить с таким сборщиком об этом предмете, и он высказал мне при этом всю накопившую на сердце горечь.

– Наш брат, говорил он мне: – всю жизнь ходи да кланяйся по кабакам да трактирам: где выругают, где запросто вытолкают, и редко кто копеечку даст; а они сидят себе в келье, двери раскрыты, а народ к ним валом валит, да всё не простые какиенибудь, а господа.

– И много жертвуют?

– Да средним числом целковых по сту в день будет. Что золота да серебра одного несут, утварь разную, подсвечники, чаши,

евангелие с каменьями, ризы – видимо невидимо. Сиди только да принимай. А вот нашему брату, так небось и издали не покажут вещей таких: стянет, думают... Целую жизнь ходи озираючись, что сраму-то одного наберешься...

– Зато ведь они с горы афонской.

– Так что-ж, что с горы? Бог-то разве не везде один?... – Нет, у нас только на иностранное мода, а свой человек хоть лоб разбей: толку не будет.

Конечно, в этой желчной исповеди отчасти выразилось оскорбленное самолюбие и религиозный патриотизм нашего сборщика, но правда и то, что афонские сборщики, почти без всякого труда, собирают в России огромные суммы денег и привозят на Афон по несколько тысяч русских полуимпериалов, кроме драгоценных вещей.

К несчастью для Афона, не все эти деньги доходят до места назначения, потому что не все сборщики смогут сохранить в этом деле полную добросовестность, тем более, что искушения-то слишком велики. Некоторые из них, побывав в мире, почувствуют к нему осо-

бенную привязанность, с которой трудно спастись на Афоне; поэтому, сдав в свой монастырь главные капиталы, они возвращаются в мир, для поступления в какой-нибудь мирской монастырь и на этот случай, конечно, оставляют себе маленький запасец. Иному и на Афоне деньги нужны, не говоря уже про штатные монастыри, где без денег – беда, а даже киновиатские сборщики, по возвращении из мира, иногда изменяют свой взгляд на дело спасения. Правда, что подобные случаи слишком редки, но всё же бывают... При мне возвратился на Афон молодой сборщик, из послушников, ездивший за сбором по поручению Руссика. На пути в монастырь этот молодец остановился на ночлег у знакомого ему келиота, не любившего Руссик, а тот и надумил его повести дело иначе.

– Что тебе пользы будет, говорил он: – если ты отдашь деньги? Ведь тобой же помыкать начнут, оставь-ка их лучше у себя.

– Да зачем мне деньги? – я киновиат.

– А ты оставь киновию и купи себе отдельную

келью, – будешь старцем, а не послушником.

ком. Поверь мне, что в уединении скорее спасешься, чем в обществе.

Долго колебался сборщик, но искушение сломило его юную душу. Через несколько дней он дал знать Руссику, что деньги потерял, а сам у того же келиота купил огромную келью с церковью и со всеми домашними принадлежностями и зажил полным хозяином. Одно только смущало новичка, что в церкви его служить некому, но деньги и в этом случае помогли. Местный архиерей, живущий здесь на покое, постриг его в монахи, а через неделю в диаконы, а ещё через неделю в иеромонаха, не смотря на то, что этому иеромонаху только 19 лет от роду, да и грамоте он совсем почти не знает [62]. Затем он пригласил на житье в свою келью нескольких беднейших отшельников и сделался их старцем. Я видел этого старца. Его очень занимает власть над учениками, которых он, по праву иеромонаха, постоянно заставляет кланяться себе в ноги и целовать свою пастырскую руку, хотя между этими учениками есть 50-летние старики. Этим он упражняет их, в смирении... Что делать, в семье не без урода!

Против силы демонской, знать, ничего не поделаешь... Впрочем, в последнее время, монастыри афонские приняли свои меры, чтобы подобных вещей по возможности не случилось.

Таким образом доходы с имений, поклонники и доброхотные подаяние в мире тоже доставляют Афону огромные капиталы. Невозможно определить цифру этих капиталов, потому что власти монастырские тщательно скрывают их, как от братии, так в особенности от посторонних лиц; только Афон совсем не так беден, как говорят о нём разные сборщики. На этот счёт можно быть вполне спокойным.

XV . Поклонники Афона.

Характеристика афонских поклонников и богомольцев. – Путешествие по св. горе и поклонение местным святыням. – Поборы с богомольцев. – Общее впечатление, выносимое ими с Афона.

Афон славен своими чудесами, полнотою благодати божией и чрезмерными подвигами братии. Эту славу его, как мы видели, разносят по всем закоулкам православного мира сборщики и разные выходцы афонские и дивится мир, слушая их чудные речи. Особенно славен Афон на Руси, где он, с каждым годом, более и более приобретает вес в глазах нашего народа. Местные болгары и греки уважают, конечно, Афон, но их уважение холодно и спокойно; они прислушались к его славе и относятся к нему подобно тому, как относится школьник к учебнику: вместе с учителем повторяет он, что науки полезны, хотя на самом деле ещё не видит от них особенной

пользы. Но Афон мало привлекает на богомолье местных жителей, вероятно оттого, что содержание монашества слишком дорого им обходится. На Руси не то. Все эти таинственные рассказы о чудесах и подвигах монашеских глубоко западают в душу народа и кста-ти подходят под склад его религиозных верований. Народ радуется, что затворники и разные подвижники, о которых он с таким благоговением читал в Четьи-минеях, есть и поныне, и, значит, благодать на земле ещё не оскудела. В этом убеждают его и земляки, побывшие на св. горе, которые своими глазами видели там чудеса, беседовали с подвижниками и слышали от них дивные наставления. И вот у многих зарождается благочестивое желание поглядеть на св. землю... Поэтому-то в последнее время, особенно когда устроились пароходные сообщения с Афоном, русские богомольцы посещают его усерднее, чем местные жители и количеством даже превосходят последних.

Прежде, когда у всех болгар было греческое духовенство и службы совершались на греческом языке, болгары любили Афон и

толпами стекались в здешние славянские монастыри, особенно, в посту великом, для говенья. Им приятно было молиться на своём языке, а не на греческом, приятно было видеть, что славянский элемент здесь сохраняет свою силу и пользуется свободой. Но с тех пор, как в Болгарии стало заводиться славянское духовенство, Афон потерял для неё свою заманчивость. Теперь число болгарских поклонников значительно поуменьшилось. Греки, валахи и сербы показываются на Афоне редко, а жители свободной Эллады совсем почти не заглядывают сюда. День прибытия парохода из России составляет праздник для Руссика [63]. Для братии русской это лучшее, отрадное развлечение, затрагивающее самые больные стороны её подвигов. Чуть только покажется вдали, дымок, отшельники сбегаются на галереи, выходящие к морю, – и при этом не одно сердечко забьется тревожно под монашеской рясой. В первое время, при начале пароходных рейсов, многие, не смотря на выговоры духовников, выбегали даже из церкви, чтобы увидеть скорее эту плывучую частичку далекой родины и узнать: не принесла ли она ка-

кой весточки о предметах когда-то милых и, к несчастью, вечно милых грешному сердцу. Пристает пароход при звуках колокольного трезвона и на шлюпках сдает на берег партию богомольцев. Монастырь на несколько минут оживится. Братие приветливо с искренним радушием окружает толпу земляков в знакомых зипунах и шапках, с увесистыми котомками за плечами. А на пристани между тем движение: слышны крики и споры при переноске грузов, матросы громко отдать распоряжение и русская ругань подчас долго раздаётся над целомудренными водами Афона. Через час пароход снимается с якоря; цепи якоря мерно стучат, наматываясь на вал, а монахи наблюдают, как тянут матросы эти исполинские чётки. Уйдёт он опять, скроется на горизонте последняя струйка дыма, а между тем некоторые долго ещё глядят в след ему, да думают тяжелые думы...

Так как русские пароходы останавливаются преимущественно у Руссика, то здесь же впервые знакомятся с Афоном и местные христиане; они пользуются даровым ночлегом в одной из гостиниц монастырских, а на другой

день обыкновенно разъезжаются по своим родным монастырям. Русским торопиться некуда: они дома. Если между приезжими есть «господа», то их сейчас же братие сдаёт на руки начальству, которое отводит им более или менее приличные покои и готовит для них особый стол «с рыбкой,» как говорит братия. Остальные поклонники помещаются где придётся и питаются в братской трапезе.

Дня через три после прибытия, наговорившись вдоволь с братиею, поклонники собираются посмотреть на другие монастыри и поклониться прочим святыням афонским. В качестве вожатого и переводчика, им начальство даёт одного из бывалых братьий и под его предводительством странники трогаются в путь. Недели две бродят они из монастыря в монастырь, с горы на гору по утомительным дорогам и обойдут в эти две недели боле двух сот верст пешком [64]. Но по всей горе уже нигде не встретят они такого гостеприимного радушия, как в родном Руссике. В киновиях ещё прием бывает сносный, но штатные монастыри, не смотря на свои огромные богатства, не могут похвастать гостеприимством и

смотрят на приближающуюся толпу оборванных богомольцев неприветливо, потому что с таких оборвышей пожива очень плоха. При том штатные монастыри, по каким-то причинам, не любят, когда у них долго остаются посторонние люди. Поэтому поклонники стараются придти в эти монастыри поздно вечером и уйти пораньше утром, а если заходят днем, то не надолго, и поклонившись чему следует, сейчас же идут дальше. Поэтому-то посетители Афона слишком мало знают быт и устройство штатных монастырей.

Для ночлега, всех поклонников обыкновенно втискивают в одну комнату, правда широкую, но грязную, затхлую, неприглядную, с невероятным количеством афонских насекомых. Монахи обращаются с богомольцами надменно и свысока, думая стоит-ли чиниться перед этою голью грошевою? Ужин дают им из мучнистого супа, или бобов варёных. После ужина гостиничный монах спрашивает каждого поклонника отдельно: не желает-ли он записать кого в книгу на помин души. Между поклонниками и этим монахом начинается торг, слышатся просьбы об уступ-

ке и затем происходит раскошеливание с тяжёлыми вздохами. Спят они вповалку, не раздеваясь, как потому, что раздеваться на Афоне не принято, так и потому, что верхняя одежда в таком случае часто служит защитой от грязи, на которой спать приходится. Конечно, наши поклонники не взыскательны и стараются утешить себя мыслью, что они, по грехам своим, не достойны лучшего, но все-таки подобные приемы сильно разочаровывают их в святости отшельников и охлаждают их религиозные восторги.

Утром рано встают поклонники и идут дальше отыскивать новые предметы для поклонения. А их на Афоне очень много. Каждый монастырь имеет какую-нибудь чудотворную икону, а в некоторых их даже по нескольку. При этом вожатый рассказывает поклонникам те события, в которых проявилось чудесное свойство икон, рассказывает, напр., как один монах ослеп за непослушание, а другой сделался нем за дерзость; как у одного неверующего рука отсохла за кощунство над иконой (при чём покажет и самую иссохшую руку) и проч. [65]. Сильное впечат-

ление производят на поклонников подобные рассказы и с невольным страхом прикладываются они к этим грозным иконам. Мне самому приходилось видеть, как поклонники, слушая рассказы об иконах, чудесно изглаголавших разные речи, с напряженным вниманием вглядывались в неподвижные уста иконы и бледнели в ожидании чуда. Под влиянием такого страха, они безропотно выкладывают на тарелочку свои гроши, в надежде умилоствити правосудие божие и делают всё, что прикажут им монахи. Кроме чудотворных икон, поклонники прикладываются к частям животворящего древа и св. мощей. В Ватопеде показывают им часть ризы Богородицы, в Дохиаре камень, с которым ангелы вытащили из воды затопленного монахами младенца; недалеко от Лавры показывают место, где св. Афанасий извел воду из камня, в Хиландаре – кровь Христову в пузырьке, землю с горы Голгофы, обогренную тою же кровью, золото, ливан и смирну, принесенные Христу волхвами. В Хиландаре же раздают поклонникам по одной ягоде изюма от лозы, выросшей из гроба св. Саввы Сербского и рассказы-

вают, что эта ягода разрешает всякие неплодства и способствует деторождению, так что даже турчанки, вкушавшие с верою этот изюм, чувствовали на себе его плодотворную силу и вследствие этого принимали православие. Слушают поклонники и берут изюм на всякий случай. Правда, некоторые из них удивляются, почему такая лоза выросла именно на Афоне, где никто не нуждается в деторождении, но спросить боятся.

Главным подвигом поклонников, во время путешествия по Афону, бывает восхождение на главную вершину горы. Не смотря на трудность этого восхождения, редкий богомолец откажется от желания поглядеть на мир Божий с такой высоты (6,400 футов над поверхностью моря [66] – 2033 метра) и помолиться в заоблачной церкви. Темя горы, как мы уже имели случай заметить, составляет площадка в 4 квадратные сажени, и на этой площадке помещена крошечная церковь в честь Преображения. Сложена она из нетёсаного камня, утварь в ней металлическая, иконы бумажные или литые из чугуна, да и те, говорят, через три года приходится переменять, потому

что едкий воздух да ржавчина слишком скоро искажают их. Неизвестно, кто и когда построил эту церковь, но надо подивиться необыкновенному фанатизму строителей её: не легко было таскать сюда строительные материалы и заниматься постройкой в таком пронизательном холоде, от которого не может защитить никакая шуба. К этой-то, близкой к небу, церкви, по обрывистым крутизнам, вскарабкиваются изнуренные богомольцы для поклонения. Здесь они прикладываются к иконам; потом, кто грамоте знает, начарапывает на стенах церкви своё имя, в память подвига; наконец все ложатся вокруг церкви и в таком виде созерцают красоты архипелага. Если день ясный, то труд их вознаграждается великолепнейшей панорамой; но это вознаграждение даётся не часто: большею частью вершина Афона закрыта облаками. Наглядевшись вдоволь и продрогнув от холода, богомольцы забирают по куску мрамора на память и спускаются к ближайшей келье Богородицы, где обыкновенно устраивают ночлег. В праздник Преображение некоторые смельчаки взбираются наверх вместе с иеро-

монахами и остаются там на целую ночь, справляя всенощное бдение. Чтобы не замёрзнуть во время бдения, они вокруг церкви разводят костры и поочерёдно согревают свои замоченные члены.

Опытные старцы позволяют богомольцам всходить на вершину Афона только с 1-го мая по 14-е сентября, а позже этого срока, по причине частых непогод, такое путешествие считается опасным. Но наших поклонников этим не урезонишь и однажды целая партия их едва не сделалась жертвою своего непослушания. Они отправились в путь в конце сентября; вожатый указал им тропинку и удалился, а храбрецы одни взошли на вершину, совершили поклонение и, по обыкновению, спустились на ночлег в келью Богородицы. На утро проснулись они, – света Божьего не видно: церковь и келья вместе с кровлями засыпаны снегом и нет никакой возможности выбраться на воздух. В таком заключении, в холоде и голоде, должны были они просидеть трое суток. На четвертые снег порастаял и ближайшие келиоты, с запасами хлеба, пришли выручать их из беды.

При мне один мещанин русский, богатырь с виду, захотел во что бы ни стало побывать на горе в ноябре месяце. Братие в страхе уговаривала его не рисковать и представляла разные резоны, но богатырь упрямо стоял на своем. «Как же это быть подле горы, а на гору не взлесть? недоумевал он: – коли вы не поведёте, так мне наплевать, я и один дорогу найду!» И пошёл один одинёхонек. Бог его знает, где пропадал он две недели и как нашёл дорогу, только он в самом деле побывал на вершине и на стене церкви записал свой подвиг, о чём весною узнали на удивление всей горы, следившей за отвагой русского геркулеса.

Исполнив свои обязанности, по отношению к святыням афонским, поклонники идут в Карею, где закупают себе разные вещицы святогорского изделия и оттуда уже спускаются обратно в Руссик. Некоторые из них вскоре после этого и уезжают с Афона, но большинство остаётся в Руссике поглядеть на процесс спасения монашеского, да, мимоходом, и свою душу поспасать немного. Оставаясь в монастыре, они, вместе с братиею, ходят на все службы, участвуют во всех братских по-

слушаниях, и таким образом собственным трудом выплачивают общине за хлеб и постой.

Наши богомольцы заезжают на Афон по пути в Иерусалим, или на обратном пути оттуда, редко кто нарочно. Почти все они принадлежат к небогатым классам народа. Большинство их составляют монахи и послушники с разных монастырей, бобыли крестьяне, отставные солдаты, небогатые купцы, мелкие помещики и т. п. Приезжают они, или по особым обетам, или просто, чтобы сделать богоугодное дело, в надежде, что время, проведённое в путешествии по св. местам, запишется в книге живота и примется в расчёт после смерти. Очень немногие заглядывают сюда из любопытства, или для разных учёных целей.

Если б возможно было, то большинство поклонников составляли бы, конечно, наши богомольные бабы. Этот неугомонный народ, зная наверное, что их не пустят на Афон, всё-таки нарочно делают огромный крюк в путешествии и тратят лишние деньги для того только, чтобы с парохода посмотреть на за-

крытую для них землю и издали помолиться афонской Владычице. Лишь подъедет пароход к Руссику, на нём подымается суматоха: бабы мечутся и толпятся у борта. «Анисья, Марфа! визжат они друг другу: – гляди-ко, монахи-то, батюшки, ходят!» и с громким криком просят всякий раз, чтоб их пустили хоть по бережку прогуляться; хоть камушек поцеловать дали и Христом Богом заверяют, что нисколько не осквернят гору. В последнее время, чтобы удовлетворить несколько бабье благочестие, старцы, не боящиеся искушений, решились выносить к ним на пароход части мощей и петь молебны, и надо видеть, с каким благоговением, толкаясь и ругаясь, силятся они прикоснуться к одежде монашеской и поцеловать ручки подвижнические. А потом эта Анисья или Марфа будет хвастаться по деревням, что она на матушке на горе афонской была.

Все почти поклонники вступают на землю афонскую, что называется, «сробевши,» будто входят в царство небесное. В церкви обыкновенно они становятся на последних местах и бессознательно отвешивают земные покло-

ны, на каждого схимника глядят с тем робким благоговением, с каким подчиненные смотрят на своего начальника. Каждый сознаёт, что он теперь «в афонской горе,» припоминает всё, что слышал о ней прежде, ждёт чего-то чудесного и смиренно сознаётся в своем недо­стоинстве. Потом, походив по святой горе, поклонники начинают посмелее вглядываться в жизнь монашескую и судить о ней каждый по своему. Кто об Афоне имел прежде поня­тие смутное и не ждал от него ничего особен­ного, тот приходит в восторг от подвигов бра­тии и от души дивится их самоистязанию; та­кой, чаще всего, сам принимает монашество. А кто полагал, что на Афоне воочию чудеса совершаются, и ждал от него чего-то сверх­естественного, тот, конечно, разочаровывает­ся. «Нешто такие бывают подвижники? тол­куют между собою эти разочарованные; стол­хороший, одежда крепкая, даже водку и чай пьют, а нешто святые-то пьют чай?... Сказы­вали, что здешние постники совсем ничего не едят, что за службой у них по церкви анге­лы божии летают, а где-ж тут эти ангелы?... Всё врут только?» Таких богомольцев на Афо-

не слишком скоро тоска заестъ; однажды разочаровавшись, они ко всему относятся критически, и норовят поскорее дать тягу.

Недолго уживаются на Афоне также бывалые странники и юродивые, приезжающие сюда только для того, чтобы впоследствии иметь более весу между остальными странниками, и таким образом отбивать у них хлеб. Смотря на святыню с коммерческой точки зрения, они в киновиях сразу почувствуют себя не в своей тарелке, ёжатся, пробуют подделаться под монашеский взгляд на вещи, но неудачно. Наскоро объехав св. гору и закупив огромное количество крестов и чётков, они торопятся убраться восвояси, не заплатив, конечно, ни копейки за хлеб и постой. Иной даже и здесь сумеет поживиться на счёт братии. Смекнув, что в киновии любят благолепие и тишину, такой богомолец начнёт бесчинствовать и оскорблять братию. Попросят его удалиться, так он ответит, что денег нет, – ну и дадут ему, сколько на проезд надо, только-бы убрался скорее. Не смотря на свою видимую неприязнь к Афону, эти бывалые странники всё-таки будут потом говорить, что за служ-

бой здесь ангелы летают по церкви, и порасскажут народу множество великих чудес о св. горе. К этому их побуждает эгоизм особого рода: желание показать верующим свою благодатную святость и близость к божеству, а это выгодно им.

Монахи и послушники из мирских монастырей, прибыв на Афон, держат себя с достоинством, боясь, чтобы чем-нибудь не уронить себя в глазах местной братии, и смотрят на неё как будто свысока. Вообще, странно встречаются мирские монахи с афонскими; их отношение большею частью сухи и холодны, точно они боятся друг друга. Мирской монах чувствует, что афонец смотрит на него с сожалением, как на погибшего, или идущего по ложной дороге и силится поддержать свой авторитет. Афонский монах видит, что мирской постриженец постоянно следит за ним и хочет подметить все его слабые стороны. Между теми и другими часто происходят споры.

– Вам легко спасаться, обыкновенно говорит мирской монах: – баб выгнали, соблазны все устранили, знай только молись, – эдак поневоле спасешься. Нет, вот вы попробовали

бы, по нашему, в мире спастись, посреди всякого соблазну, так не то бы заговорили.

– По немощи, отче! смиренно ответит афонец. – Где нам в мире? Дай Бог и здесь-то спастись как надо.

– Вы за то и ответ больше дадите, а с нас меньше стребуется, потому что нам больше надо бдеть над собою, чем вам.

– Больше отче! также смиренно ответит тот.

– А вот вы в пустыне живёте, да чай завели, вино виноградное пьёте! А мы что? Чай пьём разве только по праздникам, а вина-то виноградного в кои веки выпить придётся.

– Да ведь у нас, отче, вино с водою даётся, вместо квасу.

– Хорош квас, с таким квасом спастись можно.

– По немощи, отче! А коли у нас легко спастись, так попробуйте остаться с нами.

– И остался бы, да клятву такую дал, чтобы в мире, значит, жить.

И подобные споры горячо ведутся между монахами, разбирают они друг друга по мелочам, хвалятся обилием благодати, сравнива-

ют мирские и афонские чудеса. Конечно, эти споры ни к чему не ведут и отношение между монахами делается ещё более сухи. Бывают примеры, что мирские монахи остаются на житьё на Афоне и делаются потом столбами подвижничества, но таких немного.

Между поклонниками иногда встречаются простые набожные натуры, которые видят в путешествии на Афон особенный религиозный смысл и силятся здесь разъяснить себе разные вопросы веры. Между такими поклонниками главную роль играют наши староверы, для которых Афон важен тем, что в старине его они находят иконы с двуперстием, осмиконечные кресты и прочие дорогие сердцу святыни. С глубоким вниманием они вглядываются во всё, что совершается вокруг них, с жадностью слушают толки монашеские о священных предметах, спорят с ними, путаются и окончательно сбиваются с толку. Однажды мне пришлось услышать в Руссике разговор одного старика с монахом, разговор серьёзный, в котором старик осторожно высказывал монаху свои недоумение и просил у него ответов. Подобные недоумение и вопросы ча-

сто занимают наших начётчиков и, надо признаться, что монахи отвечают на них с толком и глубоким пониманием дела.

– Батюшка, растолкуй ты мне, спрашивал старик между прочим: – отчего это мы многого совсем понимать не можем? Видно по глупости нашей?

– Чего же, например, ты не понимаешь?

– Да вот примерно, мы знаем, что животворящий крест, на котором был распят Спаситель, был один. Отчего же у вас тут честное древо разные цвета имеет? в одном месте оно чёрное, как надо быть по старине, в другом оно жёлтое, или серое... Ведь если крест один, так и цвет его должен быть один?

– А ты помни, раб Божий, что древо-то было трисоставное: из кедра, кипариса и певга. Как же оно может быть одного цвета? Об этом и в песнях церковных поётся.

– Это верно!... заметил старик и задумался.

– Вот что ещё растолкуй, батюшка, продолжал он: – мы слышали, что когда на крещение у нас крест пуцают в море, то морская вода делается сладкою; я в прошлый раз и попробовал было, да нет, – вода совсем не сладкая...

Чтобы это значило?

– Это, брате, тебе наказание Божие было за твоё сомнение. Ведь, если бы ты не сомневался в чуде, так и не пробовал бы, а ты показал, значит, сомнение, тебя Бог и наказал за него. Вперед лучше не испытывай силу Божию, а то в прелесть бесовскую как раз впадёшь.

– Так-то так, родной, да как уберечься от этой прелести? Вот тоже мне однажды пришлось в Питере побывать и там, в Зимнем дворце, я прикладывался к десной руке Иоанна Крестителя; а у вас, в Дионисиатском монастыре, тоже есть рука Крестителява и тоже десная. Скажи-ка на милость, которая из них настоящая?

– Обе десныя: там одна часть, а тут другая... Да ты лучше не рассуждай, прибавил монах: – тут вера нужна, а благодать-то везде едина. Вот вас, мирян, лукавый постоянно спутывает такими глупыми сомнениями; а станете исследовать судьбы Господни: во всём усумнитесь, а демон только того и хочет. Нет, оставь лучше, друже, свои вопросы! Страшно за тебя делается.

– Что же делать то, батюшка, научи!

– Молись крепче, молитва поможет...

И молится потом такой поклонник, и гонит прочь он лукавые мысли, а сомнение всё таки не выходит из головы: почему две правые руки, да почему вода горькая? С этими сомнениями так и уедет он в мир, да и там едва ли кто даст ему на них прямые ответы, кроме веры... – «Так лучше же, скажет он: – и не думать о таких вещах, а то зайдет у меня ум за разум.» – И плохо ему!

Счастлив тот из поклонников, кому удалось составить убеждение не под влиянием Афона, кому не приходилось вглядываться в самую глубь аскетизма монашеского, в необычайную борьбу плоти и духа во имя Христа и царства небесного! Счастлив тот, кому не пришлось среди этой обстановки искать ответов на свои сомнения и на самом себе прочувствовать часть той нравственной пытки, какую, волей или неволей, наложил на себя аскет афонский! Горькие впечатление оставляет эта борьба и надолго, слишком надолго она отзывается на сердце жгучею болью...

Пусть же лучше на Афон ездят поклонни-

ки сильные духом, видевшие виды на веку своем и с крепкими нервами. Им, по крайней мере легко, без всякой нравственной боли обойдется это путешествие.

Эпилог.

В первых главах нашей статьи мы сказали, что много борьбы приходится выносить на Афоне монаху, привязанному к миру, и что эта тяжкая борьба или преждевременно сводит в гроб отшельника, или, умерщвляя одну за другой все его человеческие силы, превращает его в существо отвлеченное от земли и её интересов. Трудна эта борьба, но она имеет особенный религиозный смысл: волей или неволей произнося клятву, монах силится исполнить ее, дабы получить после смерти вечное блаженство, обещанное ему за строгое исполнение этой клятвы. Мрачная обстановка его жизни монашеской и невозможность удовлетворять своим человеческим потребностям, служат для него счастьем, потому что помогают достигать известной цели. Но каково жить, при таких условиях, человеку, мало мальски развитому и не связанному монашеской клятвой? Каково жить здесь мирянину, у которого грешная натура просит жизни общечеловеческой, кого томит множество вопросов и желаний неудовлетворимых на Афо-

не?... Конечно, мирянин, свободно располагающий собою, редко остаётся здесь на долго; но бывают разные нравственные обязательства, не позволяющие выехать с Афона ранее определённого срока, и жизнь такого человека, особенно если он молодой, не жизнь, а пытка, и на эту пытку обречены все миссионеры, учёные и художники, посылаемые сюда из мира для изучения местных древностей и которым иногда приходится оставаться здесь по несколько лет.

Афон служить также местом ссылки для преступников разного рода и местные епископы, вероятно, сами хорошо понимают значение Афона, если посылают сюда, на церковное покаяние, провинившихся мирян. Наказание тяжёлое, но совершенно бесполезное; потому что никогда не достигает цели своей.

Раз, гуляя от скуки по побережью Ивера, я встретил такого ссыльного. Худой и грустный сидел он на камне у самой воды и глядел на чуть заметный вдали берег Фракии, своей родины. Холодно оглядел он меня сначала, но потом знать заметил во мне что-нибудь товарищеское и разговорился. Он кончил курс в

афинском университете и скоро после этого сослан на Афон за то, что имел дерзость наругать местному архиерею. Горько жаловался он мне на своё положение, и в его жалобе слышалась то бессильная злоба, то безнадежное, мертвящее отчаяние.

– Вы тоже ссыльный? спросил он меня.

– Нет. Меня удерживают здесь казённые работы, надо кончить их.

– И вы по доброй воле поехали сюда?

– Да, но я прежде не знал Афона.

– А я знал его хорошо, но пришлось-таки ехать... Придётся ли уехать отсюда – не знаю, но чувствую, что с каждым днём упадают мои силы. Любил я когда-то чтение, музыку, разговоры, любил общество, а здесь всё это проклято; все смотрят на меня дико, как на сумасшедшего, велят каяться. Я покаялся бы, если бы после покаяния меня выпустили отсюда, а то нет, говорят нельзя. Так, вероятно, и сгину!... Знаете, я подчас боюсь здесь за свой раскусодок; бывают минуты, что руки на себя наложить хочется, да и наложу, кажется, а то сил не хватит.

– А много вам ещё остаётся жить здесь?

– Еще полтора года. Шутка-ли? Где же тут вынести. Они говорят, что это тоска по родине? врут: это ясный протест человеческой натуры против жизни такой, голод ума и сердца от недостатка знаний и чувств... А ведь молодость не воротится!... Если бы вы знали, как я их ненавижу: готов разорвать каждого.

– За что же? заметил я, – они не виноваты. Большинство отшельников верят искренно, исполняют свой долг с сознанием и мучатся не меньше нас, так что иногда вчуже больно бывает смотреть на их борьбу. Их ли тут винить надо?...

– Мне оттого не легче.

– Но я и не думаю утешать вас.

– Извините меня, перебил он, быстро вставая. – Я всех и всё теперь ненавижу: смотрите пожалуйста на меня, как на сумасшедшего. Да я и в самом деле сумасшедший.

Он быстро удалился. Что с ним случилось потом – не знаю.

Знал я ещё одного молодого художника. Приехал он на Афон свежий, здоровый, полный разных надежд, и, как художник, слишком мечтательный. С беспечным смехом рас-

сказывал он мне о своих дорожных приключениях, предполагал снимать виды Афона, чтобы потом и издавать их в свет и с жаром мечтал о светлой будущности. Через четыре месяца мы опять где-то встретились; он уже заметно посунулся и пожелтел, в нём появилась какая то нехорошая задумчивость.

– Скоро же отделал вас Афон, сказал я.

– Да, воздух здесь вредный, ответил он. – Однако Афон меня занимает не на шутку, тут много любопытного и непонятного.

– А ваши рисунки?

– Идут понемногу.

– И будете издавать их?

– Нет я так, для себя только... Да и некогда, по правде сказать, работы у меня очень много, а в свободные часы хожу с братией в церковь. Мне нравятся здешние службы.

– А монахи?

– Между ними много фанатиков, но есть великие люди.

Художник начал рассказывать мне о своих новых знакомствах; в разговорах его не было уже прежней живости: в них просвечивался мрачный отпечаток Афона. Перед отъездом с

Афона я ещё раз увидел его и в этом бродячем скелете едва узнал прежнего бойкого юношу. Я напомнил ему нашу первую встречу. Тот слегка улыбнулся, но ничего не ответил.

– Вы верно очень скучаете здесь? спросил я.

– Почему вы так думаете?

– Да потому, что слишком похудели: на вас лица нет.

– Это ничего. Напротив, я очень весел... по крайней мере очень спокоен.

– Может быть, думаете принять монашество?

– Не знаю – Это не от меня зависит.

– От кого же?

– Станный вопрос: разумеется от Бога.

Мы простились очень холодно, и с тех пор я его не встречал более. Знаю только, что он не поехал в мир вместе с товарищами своими. Может быть, он теперь уже в схиме великой, а может быть на гробнице монастырской его юные кости смешались с костями монашескими.

На мечтательные, впечатлительные натуры Афон скоро кладёт свой отпечаток, в нём

есть какая-то особенная, втягивающая сила, против которой бороться не легко. Вступив в этот мир искушений, человек мало мальски образованный и не имеющий призвание к монашеству, сперва ожесточается, бранит Афон и торопится окончить здесь свои дела, чтобы поскорее уехать; потом на него нападет уныние и отчаяние, и наконец болезненная апатия ко всему, что происходит вокруг. Его томит жизнь афонская а между тем, незаметно для самого себя, он постепенно втягивается в эту жизнь: на него начинает нападать неопределённая тревога, появляются думы, которые редко беспокоили его в мире, и, затем, понемногу изменяется его прежний взгляд на мир, замирают прежние интересы. Иной и очнётся в это время, да уж поздно: не хватит сил для мирской жизни... Говорят, что если здоровый субъект, будет жить очень долго в доме умалишенных, то, наконец, он начнёт задумываться: не принадлежит ли и сам он к числу помешанных? и действительно помешается. Этот пример, конечно, здесь не у места, но он нагляднее может объяснить: как трудно бывает сохранить собственный

взгляд на вещи, слыша кругом себя, в течение нескольких лет, одни и те же речи, вовсе не схожие с вашим взглядом. А подвижники афонские высказывают свои взгляды с искренним убеждением, как дела давно решенные, и эта сила и теплота убеждений невольно затрагивает каждого. Оставаясь в мире каждый христианин всё таки надеется попасть в рай, а не в ад, однако это не мешает жить ему, как и все живут: религия у всех народов служит утешением и отрадой жизни; но на Афоне мирянин узнаёт, что религию надо понимать иначе, что многое, чего он прежде и за грех не считал, здесь называется преступлением, – словом, здесь разбирается и осуждается каждый шаг мирянина, так что и в самом деле мысли его начинают спутываться и становится страшно возвращаться в этот многогрешный мир.

Трудно представит то тяжёлое состояние, ту тоску безысходную, какую испытывает здесь мирянин, слишком привязанный к мирским привычкам. Недостаток питательной пищи болезненно действует на организм [67]. Ему жить хочется, а кругом всё замерло и

толкует о смерти, читать хочется – читать нечего, кроме книг богослужебных, говорить хочется, но кругом всё молчит, или говорит не о том, чего душа просит. Да и с кем говорить? Пустынники келиоты мрачны и холодны, они ненавидят мир и как то странно говорят с каждым мирянином: в их речах слышится желчный упрек в нерадении о душе своей, в вечном уединении они отвыкли от ласкового слова. Киновиаты, боясь искушений, стараются не вспоминать о мирских делах и боятся мыслить о чёмнибудь, кроме дел спасения. Жители штатных монастырей тоже отвыкли мыслить вообще и с ними надо говорить слегка и умеючи; иной и заговорит, но сейчас заметно, что у него совсем не то на душе. Начальство монастырское всецело занято интересами братии, и говорит только о делах и нуждах монастырей своих, а подобные разговоры надоедают слишком скоро... Остаётся только одно наслаждение красотами афонской природы, наслаждение, конечно, великое, но оно тоже теряет свою прелесть, как не с кем разделить его... Притом самые прогулки по Афону имеют свой особен-

ный, пустынный характер. Ходишь по главным дорогам и никогда ни души не встретишь; редко разве порой наткнёшься на бедного келиота, с торбой за плечами, пробирающегося в монастырь на бдение: мимоходом он отвесит низкий поклон и прошепчет своё неизменное «благослови!» – Бог благословит, ответишь ему по обычаю, уйдет он и с ним куда-то спрячется опять вся жизнь афонская. Вокруг пусто, беззвучно, сама природа будто замерла от раскалённого воздуха; ни один листок, ни одна травка не шелохнётся, точно всё это искусственное, точно всё это вылитое из стекла и воска. Иной раз целый час стоишь, едва переводя дыхание, чтобы услышать хоть малейший звук живой, и напрасно: разве пролетит изредка какая-нибудь шальная муха со своею однозвучною песнью и эта песня долго потом слышна в воздухе... Утром рано и поздно вечером ещё заметно оживление в природе: слышно пение птиц и стрекотание насекомых, ночью тоже жизни много: в монастырях идут службы, выползают из нор своих любители тьмы: черви, сверчки и кроты, свищут птицы ночные, про-

буждаются мириады плотоядных насекомых и проч. Но днём природа афонская большею частью также мертва, как и обитатели её. Вернёшься после такой прогулки в свою келью и поневоле тоска грызть начнёт душу...

Несколько раз приходилось мне просиживать в келье, за работой, в полном одиночестве и по нескольку дней не слышать почти ни единого звука живого. Странно действует на человека это продолжительное безмолвие. Голова работает бессознательно, Фантазии разыгрывается, являются на яву непонятные и грёзы, теряется, наконец, уверенность в собственном существовании и в этом состоянии легко можно дойти до полных галлюцинаций и помешательства. Поверят ли мне, что я нарочно говорил сам с собою, чтобы не отвыкнуть говорить: скажешь, бывало, вслух какое слово и долго потом прислушиваешься к нему. Этим оживлял я уединение моей кельи. Иной раз, вспомнив родину, запоешь вполголоса какую-нибудь песню; смотришь неожиданно отворяется дверь и показывается один из старцев.

– Что ты поёшь, дитя моё? спросит он,

вздыхнув.

– Да так, взгрустнулось что-то, отче; пою, что придёт в голову.

– Молитвы какиенибудь?

– Нет, не молитвы.

– Это грех; надо петь только разные словословия. Мало ли есть молитв хороших.

– Что же, например, петь мне?

– Ну, пой «Господи помилуй!» молитва хорошая.

– Да я ведь не монах, отче.

– А ты живёшь с монахами, братие слушает тебя и соблазняется. У нас песен петь нельзя.

Ну и замолчишь опять, и хуже занает сердце от грусти, нервная дрожь заходит по телу; так бы и бросился куданибудь, убежал бы хоть на край света лишь бы подальше от такой жизни...

Мучительно и то, что не знаешь, как держать себя в отношении к старцам, чтобы не вызвать со стороны их какого упрека, или нравоучения. Все аскеты своею суровою строгостью и подозрительностью внушают какую-то невольную робость; страшно стано-

вится говорить с ними, потому что не знаешь, о чём именно говорить. Иной раз, разговаривая с аскетом, забудешься, выйдешь из своей вечно почтительной, пассивной роли и спросишь о чём-нибудь откровенно; а старец, в ответ на это или велит прочесть житие какое, или ничего не скажет, а вздохнёт только; но этот оскорбительный вздох сразу обдаст холодом и откровенное слово само собою замрёт на языке.

Раз как-то, в одной из библиотек монастырских, я нашёл неожиданно несколько книг журнала «Маяк.» Как старому другу обрадовался я этим книгам и с жадностью прочёл их от доски до доски. Не смотря на то, что «Маяк,» по своему содержанию, сам отчасти подходил к афонскому складу, однако он доставил мне много отрадных минут, напомнил родину и человеческое общество но за то ещё мрачнее показался мне Афон после этого чтения... Нет, легче было бы, если бы все эти мирские воспоминание замерли в человеке, при первом вступлении его на гору.

Есть и между монахами люди симпатичные, особенно между молодыми, не успевши-

ми ещё вполне переработать свою натуру. Испытывая тяжелую борьбу с мирскими привязанностями, они хорошо понимают состояние мирянина, живущего на Афоне по неволе, и смотрят на него с тёплым участием. С ними можно иногда поговорить искренно, стараясь, по возможности, избегать таких вопросов, которые вводят их в искушение. С такими монахами я часто беседовал в последнее время и они своими беседами силились примирить меня с Афоном и ожесточить на мир. Силились они пробудить во мне страх загробных мучений и завлечь блаженством царства небесного. Долго я слушал эти речи и, странно: они стали действовать на меня, вероятно потому, что в них было слишком много теплоты и искреннего желание спасти меня от гибели. Не раз возникал у меня смутный вопрос: а что если и в самом деле погибну? и стал я задумываться, и с ужасом почувствовал первые признаки борьбы... Всё вынесенное мною из мира вдруг стало в глазах моих принимать другой оттенок, поднялись из глубины души религиозные вопросы; мысли путались, а натура рвалась по прежнему к опо-

зоренной жизни мира... Чем ближе подходило время к отъезду, тем тяжелее становилась борьба. Состояние невыносимо тяжёлое, и не дай Бог никому испытать его!

Помню я один тяжёлый вечер на Афоне, не задолго до моего отъезда в мир. В припадке сильнейшей тоски и не зная, что делать со своей головою, я сидел в келье за работой, и в эту минуту вошёл ко мне уже знакомый читателю о. Анатолий, один из моих приятелей в Руссике. Тёплым словом вызвал он меня на откровенность и я высказал ему всё, что накопилось на сердце. Анатолий слушал меня, не прерывая.

– Да, сказал он потом: – теперь я вижу ясно вашу душу. Вы испытываете теперь тоже самое, что в начале испытывает почти каждый монах на Афоне. Вдумайтесь же теперь пристально в своё положение! Теперь над вами сильно работают демоны и хотят заглушить в вас голос ангела хранителя вашего.

– Что же делать мне надо, чтобы демоны не работали? Научите!

– Надо гнать от себя мирские помыслы и молиться. Чем для вас заманчив мир? Вспом-

ните вы эту вечную суету, сплетни, обманы, вечное лицемерие и разврат; вспомните, что вы ещё не знаете всех подлостей мира, вы ещё почти не жили в нём и что придёт время горького разочарования. Взгляните же теперь на нашу жизнь: как здесь тихо, безмятежно; какое крепкое братство и любовь между иноками. Право, как сличишь иной раз мир с Афоном, так легко делается на душе, что вырвался, наконец, из этого омута и разврата и от всей души благодаришь Создателя за своё спасение. Подумайте же! Взгляните на мир с настоящей точки зрения...

При этом о. Анатолий с желчью рассказал мне несколько грязных фактов из жизни мирской, фактов отвратительных и печальных, о которых в самом деле было не приятно вспомнить на Афоне.

– Видите ли каков мир ваш? заключил он.

. – Но зачем же зло одно видеть в мире? заметил я. – Мне кажется, что вы этим сами себя обманываете. Припомните и хорошие стороны человеческих отношений!

– Мало этих отношений, и даже в основании этих отношений лежит ложь... Сам Гос-

подь сказал, что «мир во зле лежит», а кому же лучше знать мир, как не Творцу мира. Ну, положим, что вы счастливы там, вас любят, вам всё удаётся; но среди счастье вспомните ли вы когда о душе своей?

Будете ли когда искренно молиться? Да и некогда там заниматься этим: душа сама собой пойдет к гибели. Очнитесь же, другой! Молитесь: молитва поможет. А как легко и отрадно делается на сердце после молитвы: на всех глядишь как друг, как брат, готов обнять каждого. В эти минуты уносишься чувством куда-то далеко, забываешь все труды и скорби, будто не на земле живёшь, а в преддверии рая... Из-за этих блаженных минут стоить жить на Афоне... Что же вы?

Я молчал, а о. Анатолий глядел на меня восторженным взглядом.

– • Не пугайтесь трудов монашеских, заговорил он опять: – подвигов не по силам не требуется. Мы имеем обетование, что нас помилует Бог уже и за то одно, что мы соединили свои судьбы с судьбами Афона, что мы возненавидели мир.

– А давно ли вы сами тосковали о нём?

– Что же, я и теперь иногда тоскую, но ведь это искушение, без которого монах не будет монахом.

– Неужели же всем на Афон идти надо, чтобы спастись?

– Не говорю этого, но лучше предпочесть спасение верное сомнительному. Нам не хочется, чтобы вы погибли, мы все слишком любим вас и потому боимся за вашу душу. А почему знаете: может быть Бог нарочно привёл вас сюда на спасение; может быть он даже накажет вас, если вы покинете Афон...

– Вы меня пугаете?

– Судьбы божии неисповедимы. Кто знает, что будет? может быть вы утонете, или умрете на дороге отсюда, может вас ожидают в жизни страшные несчастья! Не лучше ли поинноваться голосу совести? Решайтесь-же! Судьбы своей не избежите...

– У меня слишком много привязанности к миру; есть обязанности очень серьезные...

– Всё это Бог устроит, только пожелайте.

– Как же всё это устроится?

– А вот как. Старцы напишут вашим родным, что вы умерли здесь. Вас, конечно, ис-

ключат из списков живых людей, ваши бумаги мы все уничтожим здесь и таким образом вы сразу покончите с миром. Решайтесь скорее: завтра же старцы и напишут.

Ужас овладел мною, холодный пот проступил на теле от этой близкой возможности умереть для мира. Тогда если бы даже я и захотел вернуться, меня никто не признал бы на родине; меня не приняли бы в мир.

– Нет, ради Бога нет! проговорил я в страхе, и ещё сильнее повлекло меня к миру.

– Опять демон овладевает вами! грустно произнёс о. Анатолий.

Не знаю, до чего договорились бы мы, если бы в это время не вошёл ко мне сосед мой по келье, иеромонах.

– Что вы тут, братие, так долго празднословите? Скоро на канон зазвонят, сказал он, потягиваясь.

– Да вот, Н. А. скучает всё по миру, ответил о. Анатолий.

– Скучать-то, кажется, больше нечего. Ведь вы через недельку и в путь?

– Непременно.

– В среду, надо быть, пароход будет, так че-

го ж тут скучать?

– А может быть, он ещё монашество примет.

– Ой-ли? И в правду?

– Нет, не приму, ответил я.

– Ну, то-то, где вам? Монашество дело хорошее,

но трудное. По моему, коли ещё в мирском звании искушение заели, так монашество вам и подавно не вынести. Монахом, батюшка мой, надо родиться, а сделаться им не всякий сможет. Вот что.

– Аминь! заключил я.

Но пора закончить мою грустную правду об Афоне. Хотелось бы многое досказать о нём, но пока ещё нельзя: пусть доскажут другие. Теперь несколько слов о моей разлуке с Афоном.

Шёл дождь. Тяжелые серые тучи бесконечной стаей тащились по небу, и море и небо слились в одну грязную клокочущую массу. В келье моей с утра толпились монахи, поджи-

давшие вместе со мною парохода, чтобы проводить меня. Разговор не вязался. Все глядели на меня, как глядят на умирающего, с которым никогда не придёт более свидеться; изредка слышались советы и внушения, как бороться с прелестями мира. Отенок беседы был грустный и сам я был что-то не весел.

– Среди веселья вспомните нашу трудную жизнь и борьбу бесконечную с демоном! У вас, может быть, много радостей впереди, а у нас на веки будет одно и то же, до самой смерти.

– За то мы спасемся.

– Вспоминайте чаще Афон – меньше грешить будете! Я молчал.

– Идёт! Дым виден! перебил наши беседы о. Лукиан, и впопыхах выбежал из кельи.

Мы все вышли на балкон. Огромный пароход размашисто подъезжал к пристани монастырской. Затрезвонили колокола и на дворе появилось движение: поклонники с тюками и чемоданами, любопытные монахи, оборванные работники, – все это, торопясь, повалило на пристань.

– Идите скорее! крикнул мне кто-то со дво-

ра: – пароход бросать якоря не будет; вот уж и вещи ваши понесли.

– Иду! ответил я, и, признаюсь, у самого дыханье сжалось от какой-то тревоги: знать последние уроки Афона отозвались во мне. Опрометью бросился я вниз, прощаясь по дороге со встречными, и мимоходом слышал разные благожеланья и благословенья. Монахи столпились на пристани и следили за нами... Пароход тронулся, заклокотала пена под его могучими колёсами и полные грусти загудели над нами прощальные звуки колоколов монастырских...

Берега побежали мимо со своими монастырями, скитами и кельями и скоро всё это слилось в одну массу, в одно тёмное пятно на светлом фоне моря и неба.

Я спустился в каюту. Там сидели нарядные дамы и офицеры и слышался оживлённый разговор и смех. Вздвогнул я огляделся и в смущении бросился бежать назад. Теперь только вспомнилось мне, что, вступив на помост пароходный, я принадлежу уже миру, а не Афону. На палубе оглядел я нет ли где свои, и с радостью заметил одного пустынного

афонского, едущего в Константинополь. Он прижался куда-то в угол и тоже дико озирался.

– Что, отче, спросил я, подходя к нему: – это ведь мир.

– Я всё гляжу точно на виденье какое, ответил мне монах: – Кажется мне, что это всё не люди, а идолы какие-то.

– Да, идолы!... повторил я за ним.

Недалеко сидела группа богомольцев, афонских, и к удивлению моему, на чём свет стоит ругала Афон, разбирая до мелочей все его монастыри. Стал я прислушиваться и сначала меня покорило, а, потом вдруг точно повязка какая свалилась с глаз моих. – «Неужели я в самом деле отвык уже от мира и превратился в аскета?» подумал я и опять решил войти в каюту. Там, с жарким волнением, толковали пассажиры о готовящихся великих преобразованиях в России, о гласном суде и свободе печати, передавали свежие новости из Лондона и Парижа, – а я, как выходец с того света, с жадностью вслушивался в эти сладкие речи – «Мир»... опять слышалось мне и как тени какие припомнились

вдруг истощенные фигуры Сисоя и Анфима с их вечною грустью...

Исчезните же скорее эти тяжёлые воспоминания!... Мирская жизнь задаёт над другие великие вопросы... Афон вечно будет стоять неподвижно, он уже выработал свои цели, и дальше не пойдёт; а жизнь далеко обгонит его: она, бесконечная, пойдёт всё вперёд и вперёд, и шествию её не помешает Афон...

[1] Письма Святог. 3-е изд. часть 1, стр. 199 и далее. Тоже стр. 288 в выноске.

[^^^]

[2] Я ехал на Афон сухим путем, через Солунь. Тогда ещё не было туда прямых пароходных рейсов.

[^^^]

[3] Киновии, или общежительные монастыри отличаются на Афоне особенною строгостью устава.

[^^^]

[4] Снятие башмаков бывает всякий раз при входе в комнату, вероятно, чтобы не запачкать ковров.

[^^^]

[5] Ток и било – деревянные доски, клепало – чугунная пластинка: вещи, заменявшие в древних церквях колокола. На этих досках мерно выколачивают молотками, в роде того, как выколачивают на них наши ночные сторожа.

[^^^]

[6] Стасидиями, или формами, называются места с деревянными ручками, на которые можно облакачиваться во время стояние за службой. К задним стенкам форм приделаны на петлях доски, которые можно опустить и поднять, смотря по тому, сидеть или стоять приходится. Эти формы расставлены вдоль стен, на деревянных подмостках, чтобы не застудить ногу на мраморном полу. Такие формы, уцелели ещё в некоторых русских монастырях.

[^^^]

[7] Псалт – певчий.

[^^^]

[8] Так называются на Афоне работы, исполняемые не по своей воле. А так как в киновиях работ по своей воле нет, то здесь вся деятельность монашеская есть только послушание воле игуменской.

[^^^]

[9] Обыкновенно утренняя начинается в час по полуночи. Обедня служитя спустя полчася после утрени.

[^^^]

[10] В этом случае моиахи указывают на пример того древняго пустычника, который, убив нечаянно комара, в наказание себе трое суток выставлял своё обнаженное тело на съедение этим насекомым.

[^^^]

[11] Об иекушениях Афонских будет рассказано в особой главе.

[^^^]

[12] Подобного рода отшельники поступают не в киновии, а в штатные монастыри, с которыми познакомимся ниже.

[^^^]

[13] Наметкой на Афоне называется черное покрывало, надеваемое сверху клобука.

[^^^]

[14] О них будет речь впервди.

[^^^]

[15] Карие небольшой городок в центре горы, – столица афонского царства.

[^^^]

[16] Изд. III, часть I. отр. 95. Приезжавшие на Афон поклонники не мало изумлялись, когда посещали келью святогорца. (Он жил не далеко от Руссика, в отдельной келье). Эта келья кругом была залеплена гнездами ласточек. Святогорец в оправдание себя говорил, что ласточки прилетели после издание его писем.

[^^^]

[17] Келиоты – жители отдельных келий. См. след. главу.

[^^^]

[18] Большинство афонских монахов причащается св. таин один раз в неделю, по воскресеньям. Схимники ещё чаще.

[^^^]

[19] В некоторых монастырях монахи, решаясь молиться за церковными службами о здравии нашего царственного дома, вычеркивают при этом из него все женские имена.

[^^^]

[20] Пароходы Русс Общ. Пароходства и торговли в описываемое мною время еженедельно останавливались на несколько часов у пристани Руссика. В настоящее время эти рейсы прекращены.

[^^^]

[21] Келиотские церкви очень малы, и в редкой из них может поместиться более десяти человек. Кельи, не имеющие церквей, называются каливами, а жители их – каливитами.

[^^^]

[22] Поставленный на дверях крест служит знаком, что хозяина нет дома. Этот знак на Афоне считается неприкосновенным.

[^^^]

[23] В этот день во многих монастырях игумены благословляют несколько корзин с пшеничными сухарями и сухари раздаются бедным.

[^^^]

[24] Это, как я слышал, происходит оттого, что при твердости каменистой почвы, трудно всякий раз рыть новую могилу.

[^^^]

[25] Эти два скита, впрочем, редко выдаются из уровня остальных скитов. По внутреннему устройству зданий и образу жизни они более похожи на наши русские скиты, чем на афонские.

[^^^]

[26] Каруля построена на утесе, нависшем над морем. Из кельи ежедневно спускают к морю на веревке корвину, в которую проезжающие суда кладут съестные припасы. Этим подаянием питаются неустрашимые жители кельи.

[^^^]

[27] Такие пояса продаются в Карее и имеют огромный сбыт. Кажется их нарочно приготавливают для афонских монахов в окрестных городах.

[^^^]

[28] Подобное чудо рассказано в первом издании писем Святогорца.

[^^^]

[29] На Афоне каждая церковь, какова бы ни была её величина, строится непременно с полусфврическим куполом.

[^^^]

[30] Через несколько дней после этого я встретил Сисоя уже в монастыре, куда он приплелся, со всем своим имуществом после несчастья постигшего его дачу. Сильным дождем снесло в пропасть огороды Сисоя и подмыло в конец его келью. Незаметно было, что это несчастье огорчило Сисоя: он попрежнему шепталъ: «слава Богу!»

[^^^]

[31] Многие келиоты держат в своих кельях черепы, для назидательных размышлений над ними.

[^^^]

[32] Франками нынешние греки называют вообще всех европейцев.

[^^^]

[33] Копие с этой иконы хранится в Москве и тоже прославилась разными чудесами. Страшную видом называют ее монахи за сердитое выражение лица Богоматери.

[^^^]

[34] По снисхождению к слабости старческой, в штатных монастырях разрешено вкушение мяса.

[^^^]

[35] Во всех штатных монастырях, кроме Иверскаго, разрешено курить табак.

[^^^]

[36] Этому епископу приказано было доставлять патриарху ежегодный сбор с епархия на сумму не менее 50 т. пиастров, но он, зная бедность своей паствы донес патриарху, что не может собрать такой суммы, за что был немедленно лишен престола и сослан на Афон. На место его назначили другого, который нашёл возможность собирать ежегодно с епархии вдвое более требуемой суммы.

[^^^]

[37] В жизнеописании новых мучеников дело расказано несколько иначе, но я передаю его так, как слышал.

[^^^]

[38] Эта икона, по преданию афонскому, приплыла к Иверу из Анатолии. Приплыла она стоймя и вынута из воды иноком Гавриилом, которому перед этим было сонное видение.

[^^^]

[39] Несколько раз спрашивал я у монахов, почему это растение называется слёзками Богоматери, и всякий раз слышал новую историю.

[^^^]

[40] Цветок Богоматери, похожий на маленькую розу, принадлежит к породе иммортелей и имеет медовый запах. Про этот цветок тоже ходит на Афоне много легенд.

[^^^]

[41] Мясная пища строго запрещена в кинови-
ях и скитах афонских. Жители же штатных
монастырей и богатые келиоты смотря по до-
статкам, вкушают и мясо. Афон смотрит на
это снисходительно.

[^^^]

[42] Если бы собрать все, хранящиеся на Афоне, книги в одно помещение, то составила бы библииотека, с которой по богатству рукописей не сравнилась бы ни одна из европейских библиотек. Большинство рукописей здесь конечно религиозного содержания, но между ними есть несколько интересных и ещё неизвестных миру исследований по части светских наук и искусств. С богатством библиотек афонских отчасти познакомили нас архимандрит Порфирий и г. Севастьянов.

[^^^]

[43] На первых страницах рукописей обычно пишется грозное проклятие тем, кто осмелится похитить их из монастыря. Несмотря на это, некоторые археологи все-таки похищали книги, или вырезывали из них картинки и замечательные почему нибудь места текста.

[^^^]

[44] Эта историе со всеми её промахами отчасти вошла в состав писем Святогорца.

[^^^]

[45] Все эти фигуры сняты художественной экспедицией г. Севастьянова и представлены нашей академии художеств, но академия не нашла в них ничего замечательного.

[^^^]

[46] Один заезжий доктор из любопытства однажды осмотрел одну из таких аптек и подивился только, как афонские натуры могут выносить лекарства из подобных специй? Все они, по его словам, давно уже высохли, испортились, и скорее принесут вред, чем пользу.

[^^^]

[47] Регаль – трава, из которой на Афоне добывают жгучее масло, в роде купороснаго.

[^^^]

[48] Вот имена этих монастырей в том порядке, в каком они размещены по полуострову: Хиландар, Есфигмен, Ватопед, Пандократор, Ставроникита, Ивер, Кутнумуш, Филофей, Каракал, Лавра, Св. Павел, Дионисиат, Григориат, Симоно-Петр, Ксиропотам-Руссик, Ксеноф, Дохиар, Костамонит и Зограф. Из этих монастырей 9 держатся устава киновиатскаго, остальные штатные. Скиты: Св. Димитрия, Пророко-Ильинский, Предтеченский, Пантелеймоновский, Ксенофский, Чёрный-Вир, Серай, Новый скит, Св. Анны, Лакк, Кавсокалива и Богородица-Ксилургу. Каждая келья тоже имеет своё название, преимущественно, по храмовому празднику.

[^^^]

[49] Впрочем, скиты и кельи могут подавать в протат апелляцию на решение монастырско-го начальства.

[^^^]

[50] Все эти монастырты штатные.

[^^^]

[51] Пиастръ=5 коп. сер. Некоторые цифры мы заимствуем из записок г. Давыдова, которому удалось узнать о них от одного из членов протата.

[^^^]

[52] Какое назначение имеет здесь эта полицейская стража (сардары), состоящая из 50 человек? – я не знаю. Вечно праздная, она шляется из монастыря в монастырь, охотясь по дороге, за птицами и кабанами. Монастыри по очереди кормят их и снабжают продовольствием. Прежде, когда на монастыри нападали пираты, стража, если случалась близко от места нападения, отбивала их; а теперь пираты более не беспокоят Афона и стража вполне благодушествует. Впрочем, она иногда сопровождает в переездах по Афону важных путешественников и проэстосов и это выходит очень красиво.

[^^^]

[53] Может быть, всё это теперь уже изменилось и самые цифры стали не те, но я пишу, что слышал в мою бытность на Афоне и что записано было в моём дневнике.

[^^^]

[54] (Kawwàs, Kavas, Shawas) – мусульманские почетные стражи, облеченные низшей полицейской властью, которые в Турции приставляются к дипломатическим агентам всех рангов, а равно к высшим турецким сановникам.

[^^^]

[55] В старом Руссике ненависть между греками и русскими копилась очень долго и наконец обратилась в кровопролитную драку, в которой греки перерезали всех русских и закопали в землю их библиотеки и иконы. Но тени убитых стали беспокоить совесть греческую и они покинули Руссик. Это было в конце прошлого столетие и развалины старого Руссика до сих пор видны ещё на горе.

[^^^]

[56] Замечательно, что тогда струсил не один Афон. На другой день после отплытия нашего парохода, к Афону прибыл пароход английский и спрашивал у греков, что вчера делали здесь русские?...

[^^^]

[57] Самые значительные имения, в России, имеют: монастырь Иверский, в Москве и Зограф, в Бессарабии.

[^^^]

[58] Привожу эти клятвы, помещенные с небольшими вариантами в конце каждого хрисовула.

«Если кто, дьявольским навождением, дерзнёт отнять или разорить сие имение, того разорит Бог и пречистая его мать и да будут ему супротивниками в день страшного суда. И да будет проклят от 12 апостолов, и от 318 отец Никейских и всех святых; и да примет наказание с Иудою предателем, и Арием, и с теми, которые кричали: кровь его на нас и на чадах наших, и от меня, грешнаго, нет ему благословения.»

[^^^]

[59] Деньги за помин души берутся разные. В Руссике, например, назначен следующий «Чин поминовения». – За вечно, поминовение одною имени на проскомидии: ежедневное 60 р., еженедельное 30 р.; ежемесячное 10 р. – На неусыпаемом чтении за одно имя: вечное поминовение 60 р. с.; годовое 7 р.; сорокадневное 1 р. сер.

[^^^]

[60] Разрешение сбора на востоке зависит от местного патриарха, а в России от св. Синода. Некоторые афонские монастыри от наших древних царей получили право, через известное число лет, являться в Россию за сбором, и до сих пор сохраняют это право.

[^^^]

[61] Так например, сборщики афонского Хиландарского монастыря объявляли недавно в газетах, что в их монастыре находится 25 русских отшельников и что весь монастырь думает принять киновиатский устав. На Самом деле в Хиландарском монастыре, вместе с сербами, живёт один только русский проэстос и вся братие так не расположена к киновиямь, что едва ли когда примет их устав.

[^^^]

[62] По уставу афонскому постригающийся в сан иеромонаха должен знать грамоте и иметь от роду не менее 30 лет.

[^^^]

[63] В моё время (1859 г.) у Руссика останавливались пароходы Русского Общества пар. и торговли. В настоящее же время эти рейсы отменены и пристают ли к берегам Афона какие пароходы – не знаю. *Авт.*

[^^^]

[64] Кто побогаче, тому конечно мула дадут.
Но обыкновенно барские поездки по Афону
происходягъ отдельно от плебейскихъ.

[^^^]

[65] Подробности этих чудес описаны в книгах Святогорца.

[^^^]

[66] Предание гласит, впрочем, что и в языческие времена на этом месте стояло капище Аполлона, и что у идола, вместо глаз, были вставлены бриллианты. Блеск бриллиантов был так силён, что служил маяком для мимоходящих судов. Значить давно уже у местных жителей были попытки посвятить вершину Афона какомунибудь божеству.

[^^^]

[67] Не распространяюсь о других, внешних неудобствах жизни афонской. Мирянин во многом должен подчиняться уставу монашескому; он на всем почти Афоне не найдёт ни одного стола, нужного для работы пером и кистью, зимою он продрогнет от холода и сырости, потому что помещение для гостей здесь почти все сквозные для ветра, нет в них ни двойных рам, ни печей хороших, между тем, как холод доходит иногда до 3°. Блох, клопов и крыс везде многое множество.

[^^^]